

ISSN 0130-3000

საქართველოს  
ლიტერატურის  
ინსტიტუტი



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1993

10.335/  
1993/2



6



10.333  
1993



# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1993

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал выходит с июня 1957 года

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ.** Путь на Голгофу.  
Повесть. Окончание. Перевод Лианы Та-  
тишвили . . . . . 3
- МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ.** Стихи. Из поэмы  
«Слово Ветра». Перевод Владимира Ере-  
менко . . . . . 74
- ЛЕВАН ЧЕЛИДЗЕ.** Намлулу, Или развороты  
старого пройдохи Жоры Гвасалиа . . . . 82

### ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

- ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ.** Афоризмы. Перевод  
Валерия Ахвледиани . . . . . 117

### К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

- ИРОДИОН ЭВДОШВИЛИ.** Рассказы . . . 125
- ТАМРИКО АПАКИДЗЕ.** Стихи. . . . . 140

6

Учредители: Союз писателей Грузии  
Редакция журнала «Литературная Грузия»





ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

**ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Колокола тридцатых...**

Окончание. Перевод Эдуарда Елигулашвили . . . . . 147

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

**МАРИНА КШОНДЗЕР. Грузия в поэзии Б. Лив-**

шица . . . . . 198

ПАМЯТЬ О БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ

**ВАРЛАМ ОМИАДЗЕ. И все же нас не сло-**

мили. Записал Гр. Пачкориа . . . . . 212

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

**Ученый, писатель, общественный деятель**

(К 70-летию Георгия Цицишвили) . . . . . 219

СПОРТ

**ВТОРАЯ ПОПЫТКА** . . . . . 81

**ХРОНИКА** . . . . . 116, 139, 218, 224



# ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

## ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Иисус с апостолами снова провели ночь на Масличной горе, но не в Вифании, где их ждал теплый ужин, приготовленный искусными руками Марфы и Марии, а под кровом Симона прокаженного, который, как и Лазарь, был старым и добрым другом его. Когда-то Иисус исцелил Симона от проказы, умирающего поставил на ноги, и тот, будучи благочестивым человеком, никогда не забывал это. Он не знал, куда девать себя от радости, увидев на пороге своего дома дорогого гостя в сопровождении учеников, но радость его омрачилась сознанием, что он очень беден и ему нечем угощать гостей.

Иисус утешил его, сказав, что его привела к нему любовь, а не желание наполнить желудок. Он велел ему принести воды из источника, вкус которой помнил до сих пор. Вода заменила им ужин. Наутро, проснувшись, Иисус, по правде говоря, не отказался бы от завтрака, но к великому своему стыду Симон прокаженный и на завтрак ничего не смог предложить дорогому гостю, и Иисус с апостолами, не заморив червячка, спустились в Иерусалим.

Из уважения к Учителю апостолы не роптали, хотя голод порядком мучил их.

Неожиданно Иисус увидел на краю дороги прежде времени зазеленевшую смоковницу, и так как плоды на этом дереве появляются прежде листвы, обнадеженный, поспешил к ней. Но разве ранней весной встречаются спелые смоквы! Обманувшись в своих ожиданиях, Иисус почувствовал приступ гнева.

Окончание. Начало см. в №№ 1, 2—3, 4—5 1993 г.





— Иссохни! Да не будет же впредь от тебя плода вовек! — проклял он дерево.

И тотчас, будто из корней его выкачали жизненные соки, зеленые листья, только что радовавшиеся солнцу и с жадностью впитывавшие в себя воздух раннего утра, увяли и безжизненно повисли на черешках.

Раньше всех это заметил Иоанн.

— Смотри, как оно вдруг засохло!

— Будете верить и не усомнитесь, — сказал ученикам Христос, — то сделаете не только, что на ваших глазах случилось, но если и горе этой скажете: поднимись и ввергнись в море — так и будет. И все, о чем просите в молитвах, будет дано вам, если вы веруете.

Они еще не спустились с горы, как оказались в окружении великого множества людей, вышедших им навстречу. Среди них было немало книжников и фарисеев, специально посланных первосвященниками, членами синедриона для наблюдения за Иисусом и вовлечения его в порочащий его спор.

Для этого надо было обставить дело так, будто Иисус из Назарета является главой народного восстания, которое имело целью изгнать римских насильников из земли Израильской, восстановить единое царство Ирода Великого и возвести его самого на царский престол.

Только Иисус вошел в храм, как книжники и фарисеи обступили его и засыпали вопросами.

— Учитель, — громко, на весь храм, спросил один из них. — Я знаю, ты всегда говоришь правду, ты беспристрастен к людям и учишь нас пути Божьему. Можно ли задать тебе один вопрос?

— Говори! — отвечал Иисус.

— Должны ли мы платить подать кесарю?

— А сами вы не знаете?

— Мы хотим услышать это из твоих уст.

— Зачем вы меня искушаете?

— Как можно, равви, у нас и в мыслях этого нет!

— Покажи мне динарий.

— Динарий? — задававший вопрос недоуменно поднял плечи, он надеялся загнать Иисуса в тупик — а он о каком-то динарии повел речь...

— Да, обыкновенный динарий, которыми набиты твои карманы.



Стоявший рядом с первым фарисеем и подбодрявший его поднял полу плаща, вытащил из кармана монету и, раскрыв ладонь, протянул Иисусу.

— Чье на нем изображение и надпись? — спросил у него Иисус, слегка задетый его самоуверенностью и надменностью.

— Кесарево! — ответили фарисеи в один голос.

— Так отдайте же кесарю кесарево, а Богу — Богово!

Недоброжелатели Иисуса были потрясены его ответом — рушились все их планы. А люди вокруг, что затаивши дыхание слушали их, вздохнули с облегчением и стали насмехаться над опозорившимися фарисеями.

Но на их место заступили саддукеи. Они не верили в воскрешение из мертвых, но не хотели говорить об этом вслух, ибо учение пророка из Назарета утверждало обратное. Саддукеи подошли к кафедре, на которой стоял Иисус, и всем своим видом показывая окружающим, что их интересует только истина, почтительно обратились к нему:

— Учитель, Моисей написал, что если женатый человек умрет бездетным, то брат его должен жениться на вдове для продолжения рода умершего брата.

Христос понял, куда клонили его недоброжелатели.

— Ну и что? — спросил он.

— Было однажды семеро братьев. Первый женился, но умер бездетным. Затем второй, а потом и третий женились на этой женщине. И то же самое случилось со всеми остальными братьями. Под конец умерла и та женщина. Скажи нам, чьей женой она будет, когда все воскреснут? Ведь она была женой всех семерых братьев?

Иисус на мгновение задумался.

— Нетрудно догадаться, почему вы задали мне этот вопрос, — сказал он, — и вот, что я вам скажу: жители этого мира женятся и выходят замуж, те, кому суждено воскреснуть после смерти и обрести новую жизнь, не женятся и не выходят замуж. И умереть уже не могут, ибо равны ангелам и суть дети Божьи. А что мертвые воскреснут, еще Моисей сказал, когда говорил о кусте пылающем и назвал Господа «Богом Авраама,



Исаака и Иакова». Он — Бог не мертвых, но живых, ибо все люди, принадлежащие Богу, живые!

И тут некий книжник, внимательно слушавший Иисуса и понявший, что он побеждает в споре, спросил:

— Учитель, какая самая важная заповедь в законе?

— Самая важная? — Иисус взглянул на него и понял, что он действительно хочет знать истину. — Вот она: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая и важнейшая заповедь! Есть и вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего как самого себя»! Нет более важных заповедей, чем эти, ты так не считаешь?

Книжник почтительно кивнул головой.

— Воистину это так, — сказал он, — Господь Бог наш единый, и нет Бога, кроме него. И мы должны любить его всем сердцем, всей душой и всем разумом своим, а ближнего возлюбить как самого себя.

Иисус не мог скрыть своего удовлетворения его искренними рассуждениями.

— Недалек ты от Царства Божьего!

Среди пришедших на праздник Пасхи в святой город Давида и Соломона было немало греков. Пораженные всем, что увидели и услышали, они подошли к одному из апостолов, Филиппу из Вифсаиды, и попросили, чтобы он их представил Иисусу.

— Господин, мы бы хотели встретиться с Учителем!

Филипп пошел к Андрею и сказал ему об этом, и они вдвоем, улучив момент, сообщили Иисусу, что пребывающие во мраке неверия греки желают поговорить с ним.

— Пришел час прославиться Сыну Человеческому, — произнес Иисус, ничего не сказав о греках. Это означало, что он проповедует для всего рода человеческого, никого из него не выделяя. — Истинно говорю вам: если пшеничное зерно упадет на землю и не умрет, оно останется всего лишь отдельным зерном, а если умрет, то принесет много плодов. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее для жизни вечной. Кто верит в меня и служит мне, должен последовать за мной. Где я на-





хожусь, должен находиться и слуга мой. Отец мой воздаст почести тому, кто служит мне. Душа моя исполнена печали. Что вам сказать? Отец, избавь меня от часа сего! Ведь я пришел в этот мир, чтобы принять страдание. Отец, да славится имя твое!

В это время в небе загрохотало, и голос с небес произнес:

— Имя мое славно, и я его еще прославлю!

Люди в храме трепеща переглянулись.

— Это был гром! — сказали одни.

— Это ангел говорил с ним! — возразили другие.

— Не для меня раздался этот голос с небес, — глаза у Иисуса повлажнели, — а для вас! Пришел судный час для этого мира! Свергнут будет правитель его. И когда я вознесен буду, привлеку к себе всех.

Понятливый должен был понять, что он говорил. А говорил он, что ждет его смерть и как он уйдет из этого мира.

Но народ недовольно зашумел.

— Мы знаем из книг закона, что Христос будет жить вечно, так как же ты можешь говорить, что Сын Человеческий должен быть вознесен? Кто этот Сын Человеческий?

На что Иисус отвечал иносказательно:

— Свет будет с вами еще некоторое время. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, ведь ходящий во тьме не знает, куда идет. Пока свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света!

Сказав это, он сошел с кафедры. Потом пожелал обойти храм.

Он вспомнил детство, когда двенадцатилетним отроком отстал от родных, возвращавшихся в Галилею, и вернулся в храм, где нашли его перепуганная мать с Иосифом. Как давно это было! Казалось, прошла целая вечность! Сердце у Иисуса сжалось, на глаза навернулись слезы. Стало жаль мать. Только сейчас он понял, как груб был тогда с ней, навсегда ранил ее сердце, сердце той, которую так любил.

Смущенные его речами люди расступались перед ним.

— Что это он сказал нам? — шепотом спрашивали они друг у друга. — Похоже, слова его перечеркивают дела его.



Но так думали не все, были и такие, кому слова его сказали многое, и они уверовали в него.

Иисус остановился у сокровищницы, здесь находились ящики, куда народ опускал свои пожертвования. Бросали кто сколько мог. Чаще всего у ящиков останавливались богатые. И здесь они превосходили своих малоимущих соплеменников, и здесь теснили их. В надежде за щедрое пожертвование получить столь же щедрую милость от Отца Небесного, они, не считая, горсть за горстью опускали монеты с показным самодовольством. Но вот к одному из ящиков подошла бедно одетая женщина, очевидно, вдова, лицо которой было почти закрыто выцветшим от времени, некогда черным платком. Она опустила в отверстие две самые мелкие из ходячих монет и, не задерживаясь, тут же ушла.

Иисус проследил за ней взглядом и, когда она скрылась, обратившись к апостолам, сказал:

— Истинно говорю вам, эта бедная вдова опустила в ящик больше всех, ибо все они клали от избытка своего, она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Господь стократно воздаст ей и уготовит Царство Небесное.


Иисус прощался с храмом. Апостолы сопровождали его, наслаждаясь величественным зрелищем. Прежде всего поражала его внутренняя монументальность. Создавалось впечатление, будто священные здания храма вобрали в себя весь бескрайний мир. Апостолы не могли оторвать взгляда от многоцветных камней и великолепных украшений, от колонн из цельного камня и богатой мозаики. Иисус молча переходил из здания в здание. Андрей раньше других заметил, что душа его в печали. Он почтительно осведомился, неужели это поразительное творение оставляет равнодушным Учителя, ведь подобное этому храму не создавала рука человека, вдохновленного свыше.

— Придет время, — с грустью отвечал Иисус, — и все это, что сегодня радует глаз, будет безжалостно разрушено так, что не останется камня на камне!

Апостолы ужаснулись, услышав это предсказание.

— Что ты говоришь, Учитель, — забросали они его вопросами, — неужели такое может случиться? А какой будет признак этого?





— Признак тот, что я говорю вам это, — ответствовал Иисус, выходя из храма. Он шел к Масличной горе. Апостолы молча следовали за ним. Одолев первый подъем, Иисус присел отдохнуть. Отсюда храм и его окружение виднелись как на ладони. Симон-Петр, Иаков, Иоанн и Андрей почтительно приблизились и еще раз спросили:

— Скажи нам, какой будет признак, Учитель?

Ушедший в свои мысли Иисус поднял голову и, помедлив, ответил:

— Я же сказал вам, признак тот, что я вам говорю это. Будьте осторожны, чтобы не ввели вас в заблуждение, ибо многие придут под моим именем и будут говорить: «Я Христос» и «Время настало», но не следуйте за ними. И когда услышите о войнах и возмущениях, не отчаивайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, чем настанет конец. Народ поднимется против народа и царство против царства, и будут великие землетрясения, голод, мор и ужасные явления и знамения с небес. Но вы должны быть крепки духом, ибо вас схватят и обвинят во многих несчастьях, обрушившихся на мир. Из-за меня вас будут судить в синагогах, бросать в тюрьмы, заставят держать ответ перед царями и правителями. И вы получите возможность свидетельствовать обо мне. Будьте мужественны и выполните свой долг! Но заранее не беспокойтесь о своей защите, ибо я дарую вам мудрость и вложу в уста ваши такие слова, что ни один из ваших противников не сможет ни противостоять вам, ни отвергнуть вас. Вы будете преданы и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, некоторые из вас будут умерщвлены. И все будут ненавидеть вас из-за имени моего. Но кто до конца останется непоколебимым, спасется. Знайте, и волос с вашей головы не упадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, что приблизилось разрушение его. Тогда находящиеся в Иудее должны бежать в горы, те, кто в городе, должны выйти из него, а те, кто будет в окрестных селениях, пусть не входят в город, потому что это дни отмщения, когда должно исполниться все написанное. Горе беременным и кормящим грудью в эти дни! Ибо великое будет бедствие на земле, и Божий гнев падет на этот народ! И падут они



от меча, и поведут их пленниками к другим народам. И язычники будут попира<sup>ть</sup> ногами Иерусалим, доколе не окончатся времена язычников. И тогда, если кто вам скажет: вот он я, Христос, не верьте, ибо восстанут многие лжехристы и лжепророки и будут творить чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед все сказал вам. И после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И появится на небе знамение Сына Человеческого в виде креста. И станут скорбеть все племена земные, и увидят они Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных во всей своей силе и славе. И пошлет он ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его отовсюду, от одного конца небес до другого. Но никто не знает, когда придет этот день и эта минута. Как было во времена Ноя, так же будет и во время пришествия Сына Человеческого. Как в дни перед потопом люди ели, пили, женились и выходили замуж до того самого дня, как Ной вошел в ковчег, и ничего не подозревали, пока не настиг их потоп и не смыл все и вся, так же будет и перед пришествием Сына Человеческого. И если тогда двое будут в поле, один будет взят, а другой останется, и если две женщины будут молоть зерно на жерновах, одна из них будет взята, а другая оставлена. Так что бодрствуйте, ибо никто вам не скажет, когда придет Господь ваш. Все это произойдет до того, как ныне живущее поколение умрет. Небо и земля исчезнут, но вечны слова мои. Не предавайтесь разгулу, пьянству, радостям жизни этой, чтобы этот день не застиг вас врасплох, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Будьте настороже постоянно и молитесь, чтобы сумели вы избежать будущих бедствий и предстали перед Сыном Человеческим с уверенностью в себе.

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Первосвященники и учителя закона вновь собрались в доме Кайафы на тайные переговоры. Кроме высшего духовенства, на них присутствовали дряхлый тесть Кайафы Анна и представитель Понтия Пилата Валерий Грат.



Через два дня начинался праздник Пасхи, а пророк из Назарета, которого на специальном совещании решено было схватить и предать в руки палача, продолжал разгуливать на свободе, учил народ и делал все, что ему заблагорассудится. Своеволие и богохульство уверовавших в него перешло все границы. Отравленные его безнравственными проповедями, они уже не слушали учителей своей веры, оскорбляли их, гнали из синагог, а пророка из Назарета, признанного ими Христом, Спасителем, Мессией, Царем Иудейским, восхваляли на все лады и пели осанну.

То, что происходило ныне в Иерусалиме, было ничем не лучше нашествия язычников, разве только кровь не проливалась, и это не могло оставить равнодушными первосвященников, духовных пастырей народа, как они сами себя величали. Они считали, что обязаны сделать все, чтобы вернуть в лоно истинной веры народ, ставший на путь богохульства, спасти его, но это было невозможно, пока главный смутьян ходил по земле и смущал разум благочестивых иудеев своими ложными чудесами.

Каждый из присутствовавших первосвященников выступил уже по крайней мере по два раза, пуская в ход все свое ораторское искусство, не забывая однако бросать быстрые взгляды на римского чиновника — произвело ли его красноречие впечатление или нет.

Валерия Грата абсолютно не интересовал предмет спора иудейских первосвященников, и его присутствие здесь, предписанное прокуратором, было данью их честолюбию.

Понтий Пилат, осуществлявший божественную власть могущественного Рима в стране иудеев, с помощью своих чиновников и лазутчиков, посланных в народ, знал уже все о пророке из Назарета и, убедившись, что он не имеет никакого отношения к возмущению народа против Рима, потерял к нему интерес и предоставил неограниченную свободу действий местному духовенству.

Бесспорным признаком того, что прокуратор не оставлял без внимания донесения первосвященников и учителей закона, было присутствие на их собрании личного его представителя Валерия Грата.

Возможно Пилат и не пошел бы на это, не опасай-



ся он в душе козней иудейских первосвященников. Они могли подать на него жалобу в сенат, что он покрывает врагов империи, несмотря на их неоднократные предупреждения, а это принесло бы ему кучу неприятностей. Поэтому лучше было бы, наверное, не портить с ними отношений, дать им возможность схватить этого пророка и передать законникам, но Понтий Пилат, как человек дальновидный, не хотел враждовать с израильтянами, вызывать недовольство всего народа. Он прекрасно знал, что чудотворец из Галилеи был не одинок, его охраняли сотни, тысячи соотечественников, и причини ему римляне малейший вред, кто бы мог поручиться, что это не вызовет новый бунт и кровопролитие.

Вы являетесь отцами народа и поступайте, как велит вам ваш Бог—Валерий Грат передал членам синедриона слова Понтия Пилата,—мы же, солдаты могущественного Рима, будем и будем блюсти здесь его интересы.

На Рим рассчитывать не приходилось. Первосвященники и законники и на этот раз должны были действовать самостоятельно. Они в подробностях рассмотрели все пути и средства, при разумном использовании которых можно было взять пророка из Назарета. Единственное препятствие — великое множество народу, пришедшего на праздник Пасхи в стольный город Иерусалим. У большинства из них только одно было на устах—имя Иисуса Христа. Одни видели творимые им так называемые чудеса своими глазами, другие, якобы, исцелились от неизлечимых болезней, и все вместе они распространяли в толпе богохульные мысли. Ну как заставить замолчать стадо!

Надо было дожидаться конца Пасхи, когда вся эта масса схлынет из города, Тогда, может быть, каким-то образом удастся изолировать назаретянина и, убедив народ, что все творится по воле Божьей, устроить над ним судилище, на котором подтвердятся его хитрость и лживость.

Но как его взять? Где? Когда?

Может быть заслать своего человека в тесный круг его учеников и друзей и, воспользовавшись их доверием, схватить этого лжемессию?

Это был проверенный способ, но можно ли было ввести в заблуждение и обмануть Его? И все-таки на-



до искать такого человека и пытаться, попытка — не  
пытка, а спрос не беда.

Что если его можно найти среди апостолов? Не  
ужели все двенадцать так едины духом, так спаяны и  
сплочены, что в отношениях между ними нет места и  
трещине?

В надежде отыскать эту желанную трещину они  
прекратили переговоры и договорились встретиться на  
другой день, в пятницу. Но и в пятницу ни к чему кон-  
кретному не пришли. Стояла поздняя ночь. Наступала  
священная суббота, запрещающая сынам израильским  
всякую деятельность, и первосвященники вынуждены  
были распрощаться со своими подчиненными.

Ночь с четверга на пятницу Спаситель провел на  
Масличной горе в доме Симона прокаженного.

Всеми вокруг владело праздничное настроение. Апо-  
столы еще не знали, где пожелает Спаситель есть пас-  
хального агнца, но полагали, что в Вифании, которая,  
как считалось, находилась в пределах Иерусалима.

Христос не разделял общего праздничного настрое-  
ния. Злое предчувствие, ни на минуту не оставлявшее  
его, заставляло искать уединения. Оставшись один, он  
опускался на колени и молился, воздев руки к небу.  
Неужели действительно случится то, что говорил он  
апостолам и всему народу? В это весеннее солнечное  
утро, когда земля пробуждалась от зимнего сна и все  
вокруг наполнилось жизнью и ликованием, ему самому не  
верилось в собственное предсказание.

Апостолов тревожило настроение Иисуса. Боясь  
взаимных обвинений в малодушии, они не признавались  
друг другу, но каждого из них грызла одна и та же  
мысль: как пойдет их жизнь после Христа? И если Спа-  
сителя распнут на кресте, не ждет ли их та же участь,  
ведь и они несли в народ его учение, что вызывало яр-  
остный гнев книжников и фарисеев. И восстанет ли Сын  
Человеческий на третий день после своей смерти, в чем  
Иисус убеждал апостолов и весь народ?

Симон прокаженный поставил скромное угощение  
дорогим гостям. Иисус благословил кров, приютивший  
их, и пригубил отдающее плесенью вино. Затем кро-  
шил хлеб в глиняную миску с кипяченым молоком и  
поднял голову. Медленно обвел глазами присутствую-  
щих.



— Ты кого-нибудь ищешь, Господи? — спросил Симон-Петр.

— Мы все здесь или кто-нибудь отсутствует? Апостолы в тревоге переглянулись.

— Иуды нет, — вдруг произнес Иаков, — куда он мог деться, только что был здесь!

— Придет сейчас, человеку уже и выйти нельзя по нужде, — упрекнул его брат Иоанн.

— Да вот он!

Но это был не Иуда, а средний сын Симона прокаженного, который принес корзину собранной накануне клубники. Сдвинув миски в сторону, он поставил ее на середину стола. Глаза у апостолов загорелись. Они стали расхваливать на радость отцу конопатого мальчишку и, жадно набросившись на ягоду, съели ее в мгновение ока и уже не вспоминали о Иуде.

Иуда появился только через несколько часов. Не заходя в дом, он отправился на сеновал, служивший всем ночлегом. Апостолы с недоумением переглянулись, а погода послала к нему самого младшего — Иоанна, спросить, что с ним случилось.

Иоанн тут же возвратился.

— Он не отвечает, сидит и молчит.

— Оставьте его, — сказал Иисус, — будет нужда, позовет вас или сам придет.

— У него в Иерусалиме родственники, Господи, верно, выпил там лишнего и, пока не придет в себя, не хочет показываться нам на глаза.

«Хотелось, чтобы это было так!» — подумал про себя Иисус. Унизительное сомнение терзало его, ему верилось и не верилось, что Иуда был тем изменником, кто должен был предать его в руки первосвященников и старейшин. Это подозрение, разрывающее душу и сердце, не оставляло его ни на миг и отравляло жизнь. И если он молчал о нем, то только потому, что ничем не мог обосновать свои сомнения. И еще в глубине души он упрямо верил, что в последнюю минуту предатель дрогнет, не сможет пожертвовать им, не продаст душу сатане. Но этому страстному его желанию не суждено было сбыться. С неумолимой неизбежностью близился роковой день. Он попросил апостолов не приставать к Иуде с расспросами, не корить его за скрытность. Это ведь не первый случай, когда Иуда пропадал. Бывало



он исчезал на несколько дней, и, когда они уже теряли надежду вновь увидеть его, возвращался и также сторонился всех, набравши в рот воды.

Когда стали надвигаться сумерки, Иуда вышел во двор и как ни в чем не бывало уселся на землю под застывшим от холода инжировым деревом, где уже сидели Иисус с апостолами. О чем он думал? Почему выглядел таким мрачным и неприкаянным?

Иисус говорил с апостолами о пасхальном ужине. Поскольку в праздничные дни в Иерусалим стекается великое множество народу, то снять в городе комнату внаем, не говоря уже о квартире, очень трудно. Бывало, одну комнату снимали несколько семей и вместе отмечали Пасху. Но Иисус заранее позаботился обо всем. Он переговорил со своим старым приятелем, сказал, что хочет отметить Пасху в его доме, и получил его восторженное согласие.

Говоря это, Иисус почувствовал, как сжалось его сердце, ибо он знал, это его последняя Пасха. Час пробил. В последнее время он часто задумывался о роковом дне, ожидавшем его. Ему было жаль оставлять этот мир, в котором он прожил всего тридцать три года. Он мечтал, чтобы Отец Небесный продлил его пребывание здесь. Отсутствующий взгляд хранившего молчание Иуды ранил его в самое сердце. Казалось, в мыслях своих он был где-то очень далеко, на самом же деле ловил каждое слово Учителя и, кто знает, что уготовливал ему.

Предусмотрительность Учителя обрадовала апостолов. Заботу об угощении, кроме вина, которого, по словам Иисуса, у хозяина было вдоволь, взяли на себя Симон-Петр и его брат Андрей. Они встали, надо было спешить, чтобы успеть все к сроку.

— А вы, молодые люди, — обратился Иисус к сыновьям Зеведея, — через Гефсиманский сад спуститесь в город, там встретите человека с кувшином, полным воды, последуете за ним в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома: Учитель спрашивает тебя, где комната, в которой он может есть пасхальный ужин со своими учениками? Хозяин покажет вам просторную горницу, готовую к нашему приходу. Потом вы пойдете в храм, где вас будут ждать Симон и Андрей. Вернетесь в горницу и приготовите пасхальный ужин.



— Так и сделаем, Господи!

— А мы спустимся, как только стемнеет.

Через несколько минут сыновья Зеведея и Иоанн вышли за калитку Симона прокаженного и пустились каждый своей дорогой.

— Что если мы не встретим этого человека с кувшином? — спросил Иоанн брата, когда они оставили за собой Гефсиманский сад и по узкой тропинке спустились в овраг.

— Как это не встретим? Ты что, слову Господа не веришь?

Минут через двадцать братья подошли к городу. Иаков невольно ускорил шаг, он, как и брат его, в глубине души опасался, что они не повстречают человека, который должен был привести их к хозяину заветного дома, но не хотел показывать это.

И тут они увидели старика, который, согнувшись, нес кувшин с водой. С трудом волоча ноги, он по диагонали пересекал узкую улочку.

Какое-то время братья следовали за ним, а когда он свернул направо, остановились на перекрестке и стали издали наблюдать за ним. Старик вошел в первый же двор, и братья вмиг оказались в нем. Старик даже не оглянулся на их шаги, понурив голову он едва тащился по вымощенной тропинке, ведущей в глубь двора.

Старик оказался хозяином дома. Когда Иаков передал ему слова Спасителя, в потухших его глазах зажглись огоньки, он поставил кувшин на землю и сделал знак братьям следовать за ним.

Двор оказался двухэтажным. По каменной лестнице братья поднялись на верхний двор. Здесь они увидели каменное строение. Старик подошел к его правому крылу и ввел их в просторную горницу.

— Как вы видите, здесь есть все, что нужно, — дрожащим старческим голосом произнес он. — И места всем хватит.

Посреди горницы стоял покрытый полотном длинный стол. Вокруг него — возглавия. Еще один стол, круглый и гораздо меньших размеров, был придвинут к дальнему углу. Вокруг него стояли мягкие кожаные лежанки. Все говорило о том, что хозяин дома был если не богатый, то вполне обеспеченный человек. Он, как



видно, сдавал внаем свои комнаты приезжающим в Иерусалим на праздники Пасхи, Кущей и Обновления, и плата, взимаемая с временных жильцов, составляла один из основных источников его доходов.

Иакову и Иоанну понравилась горница, о лучшей не надо было и мечтать. Они поблагодарили хозяина и ушли на встречу с Симоном-Петром и Андреем, оставив дверь в горницу открытой, чтобы затхлый запах сырости хоть немного выветрился из нее.

Было уже темно, на чистом весеннем небе зажглись первые звезды, когда четверка, посланная позаботиться об ужине, закончила свои дела. В это время со стороны каменной лестницы, ведущей в верхний двор, слышались шаги и приглушенные голоса.

— Это они! — радостно воскликнул Иоанн и, схватив факел, прикрепленный к стене, выскочил из горницы, чтобы осветить вновь прибывшим. Иисус показался ему необычайно радостным. Куда подевалась его печаль? Новый плащ, новая обувь, лицо просветленное, казалось, он не шел, а летел над землей. Апостолы, следовавшие за ним, тоже выглядели радужно настроенными. Всем своим видом они как бы говорили: нам море по колено. Всю дорогу от дома Симона прокаженного они, по-видимому, шутили и веселились и сейчас все еще находились во власти непринужденно-легкого настроения.

— Как дела? — живо спросил Иисус. — Надеюсь, мы не были нетерпеливы и не явились прежде времени?

— Все готово, Господи, — отвечал Иоанн и, посторонившись, пропустил Иисуса в горницу, — вот, убедись сам!

— О, вы действительно накрыли царский стол! — Иисус не смог скрыть своего восторга при виде щедрого стола, освещаемого светильниками. — Кто готовил?

— Все четверо!

— Водой для омовения ног запаслись?

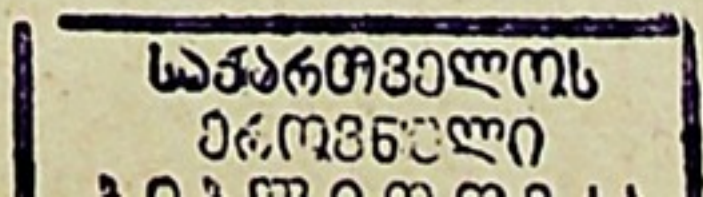
— Бочонок полон воды.

— Вы ее подогрели?

— Разведем горячей водой.

— Так помянем Господа и, прежде чем сесть за стол, по обычаю омоем ноги!

С этими словами Иисус снял с себя плащ, подвязался полотенцем, затем взял сверкающий медный таз,





что стоял за дверью, и, опустившись на чурбан, поставил его перед собой.

Иаков наполнил таз теплой водой.

Апостолы в смущении мялись на месте. Иисус терпеливо ждал, когда кто-нибудь из них решится подойти к нему, — он должен омыть ноги каждому. Наконец кто-то сделал первый шаг. За ним и остальные стали снимать сандалии. Они подходили к Учителю и опускали ноги в таз с водой. Иисус не спеша омывал ноги каждому и высушивал полотенцем, которым был подпоясан.

Когда пришла очередь Симона-Петра, он не выдержал и осмелился вслух выразить свое недовольство:

— Господи, тебе ли умывать мои ноги?

— Ты не понимаешь, что я делаю, но позже поймешь.

— Не гневайся на меня, но не умоешь ног моих вовек!

— Если я не омою их, то не будет тебе места рядом со мной!

— Если так, Господи, то не только ноги, но и руки мои и голову омой!

— Омытому нужно только ноги умыть, потому что весь он чист, и вы чисты, мои апостолы, но, увы, не все.

«Увы, не все!» — эти слова молнией поразили апостолов, — «кого он имел в виду, когда сказал это?».

Умыв ноги последнему из апостолов, Иисус поднялся, вытер руки, повесил полотенце на стояк, надел плащ и возлег в центре стола лицом к двери. Когда все заняли свои места, он продолжил свою мысль:

— Вы называете меня Учителем и Господом, и вы правы потому, что так оно и есть. И коли я, ваш Учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омыть ноги друг другу. Если хотите остаться верными завету, делайте для других то же самое, что я делаю для вас. Помните: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если вы будете знать это и поступать так, обретете счастье. Я говорю не всем, а только вам, ибо знаю, кого избрал в апостолы.

Внесли пасхального агнца, поджаренного в свежей зелени, Иисус поддел вилкой кусок, поднес к носу, затем попробовал и, подняв чашу с красным вином, поздравил апостолов с великим праздником.



— Истинно говорю вам, — сказал он, осушив ча-  
шу, — один из вас предаст меня.

Апостолы замерли в ужасе. Сразу расхотелось  
есть. Это было самое страшное, что можно было сей-  
час услышать. Да и сам Иисус, казалось, был в смяте-  
нии — подбородок у него едва заметно дрожал.

Апостолы растерянно переглянулись и уставились  
на Иисуса, безмолвно вопрошая: о ком ты говоришь,  
Господи? Кто из них был способен предать его? Иоанн,  
сын Зеведея, самый младший по возрасту, будучи лю-  
бимым учеником Иисуса, во время застолий всегда си-  
дел рядом с ним. Симон-Петр сделал ему знак, чтобы  
он спросил, о ком же говорит Иисус. И Иоанн, накло-  
нившись к Иисусу, спросил:

— Господи, кто же это? Не я ли?

Эти же слова готовы были сорваться с уст каждо-  
го. Но никто не успел произнести их, ибо на прямой  
вопрос Иоанна Иисус прямо ответил:

— Это тот, кому я подам кусок хлеба.

С этими словами он обмакнул хлеб в подливу и  
подал Иуде, сыну Симона Искарюота. Как только Иу-  
да взял этот кусок, в него тут же вселился сатана. Все  
неотрывно смотрели на него, и он проглотил кусок,  
хотя и чувствовал, что не следует этого делать.

— Не я ли, Господи? — вдруг вырвалось у него.

Иисус опустил глаза и мрачно произнес:

— Делай поскорее, что собираешься делать.

Апостолы переполошились. Никто из них не понял  
значения слов Иисуса. Так как у Иуды была общая  
шкатулка, они решили, что Учитель велит ему купить  
все необходимое для праздника и милостыни нищим.  
Но каково же было их изумление, когда после слов  
Иисуса Иуда молча поднялся и, ни на кого не глядя,  
крадучись, на цыпочках, вышел в ночь.

Иисус проводил его взглядом. Когда во дворе стих  
звук его шагов, он взял хлеб и, возблагодарив Бога,  
преломил его и раздал ученикам.

— Ешьте, это тело мое, отдаваемое за вас! — и,  
когда все вкусили его, поднял чашу свою и сказал: —  
Отныне будете пить из этой чаши. Это вино — новый  
завет Господа, скрепленный кровью моей, которую я  
пролью за вас. Отныне я не буду пить вина виноград-  
ного пока не придет Царство Божье!



Иоанн затянул своим бархатным голосом «Аллилуйю», ему стал вторить брат Иаков. Остальные поддержали их. Иисус пел вместе со всеми. Прикрыв глаза, чуть приоткрыв рот, он напряженно вслушивался в собственный голос. Закончив петь, они, как требовал обычай, умыли руки, затем спустились в нижний двор и вышли в город.

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Ночь была лунной. Фиолетово-серым покрывалом легла она на освещенный факелами город. Казалось, все его площади, улицы, плоские кровли домов в одночасье покрылись тонким слоем снега.

Когда они оставили за собой последний дом на склоне горы, где, уже отпраздновав Пасху, предались сладкому сну, свет луны стал таким ярким, что на тропинке, испещренной неровными тенями, можно было увидеть каждый камушек.

До самого Гефсиманского сада они, точно перессорившись, не произнесли ни слова. Апостолы ломали голову над тем, что означали слова Господа, обращенные к Иуде, и куда подевался сам Иуда, почему он не возвращается вместе с ними в дом Симона прокаженного.

Добравшись до первой площадки на склоне, Иисус замедлил шаг, подождал, пока подойдут поднимавшиеся гуськом апостолы, и, когда все собрались, обратился к ним со словами:

— Все вы отречетесь от меня сегодня ночью, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада», — голос у него дрогнул, но он продолжал:— Не сучаете по Галилее? Не торопитесь, по воскресении моем отведу вас туда!

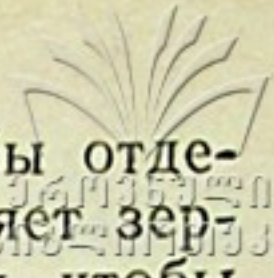
Апостолы были в смятении. «Что это он говорит?!» — вспыхнул Симон-Петр, мочки ушей у него побагровели, в словах Учителя он усмотрел нечто, оскорбляющее его мужское достоинство, и не смог скрыть это.

— Даже если все потеряют веру из-за тебя, я никогда не потеряю!

Иисус усмехнулся. Искренность ученика согрела ему сердце.

— Сатана хотел испытать вас, — Иисус дружески





положил руку на плечо Симону-Петру, — чтобы отделить плохих от хороших, как крестьянин отделяет зерна пшеницы от сорняков. Но я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, вернувшись ко мне снова, укрепил и братьев твоих в вере!

— Я не отрекись от тебя, даже если мне будет грозить смерть! Я готов идти с тобою и в тюрьму, и на смерть!

— Истинно говорю тебе: сегодня, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня!

— Никогда! — в один голос отвечали апостолы. — Никогда мы не отречемся от тебя!

— Когда я послал вас без денег, без сумы, без обуви, — продолжал Иисус, — имели ли вы в чем-нибудь недостаток?

— Ни в чем, Господи!

— Теперь же у кого есть деньги, пусть возьмет их, а также и суму дорожную, с собой. У кого же нет меча, пусть продаст одежду и купит меч. Ибо должно исполниться на мне сказанное в Писании: «И будет причислен к злодеям».

— Господи, посмотри, здесь два меча!

— Два будет достаточно! — грустно произнес Иисус.

После этого, повелев Симону-Петру, Иакову и Иоанну следовать за ним, а остальным ждать на месте, Иисус вошел в зеленую чащу Гефсиманского сада. Трое апостолов покорно шли за ним. Никто из них не знал, почему они свернули в сад и куда конкретно направляются.

— Душа моя скорбит смертельно, — сказал вдруг Иисус, — побудьте здесь и бодрствуйте со мною, — сам отошел на расстояние брошенного камня, встал на колени и начал молиться:

— О, если это возможно, пронеси чашу сию мимо меня, Отец! Впрочем, пусть свершится твоя воля, а не моя!

И явился ему ангел с неба, который поддерживал и укреплял его. И он молился еще усерднее, и, точно капли крови, орошали землю его пот и слезы. Облегчив сердце молитвой, он встал и подошел к ученикам, которых оставил под развесистой пальмой. А те, изну-



ренные печалью, спали так крепко, что не услышали приближения Учителя.

— Симон, ты спишь? — Иисус нагнулся и слегка прикоснулся к его плечу. — И одного часа вы не могли бодрствовать со мною!

Апостолы проснулись, протерли глаза в смущении.

— Вставайте и молитесь, — сказал им Иисус, — чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна.

Он снова отошел в сторону, опять встал на колени и вознес молитву Господу. Вернувшись, он вновь нашел учеников спящими. Как видно, все дело было в вине — они не могли поднять отяжелевших век и не знали, как оправдаться перед Учителем.

Когда то же самое повторилось и в третий раз, Иисус не сдержался.

— Вы все еще спите и отдыхаете? — упрекнул он апостолов. — Это мне уже не нравится. Проснитесь наконец, откройте глаза! Настал час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Смотрите, вот тот, кто предаст меня!

За час-полтора до того как Иисус и апостолы встали из-за праздничного стола, служитель великого храма Матфей почтительно открыл тяжелую, украшенную сусальным золотом дверь дворца Кайафы и прошел в сверкающий огнями светильников зал, где за щедро накрытым столом возлежали первосвященники, высокие иудейские чиновники, находящиеся на службе у римлян, и сами римляне. Матфей на цыпочках приблизился к Кайафе и замер у него за спиной.

Кайафа, с нетерпением ожидавший его появления, сделал ему знак рукой.

Служитель нагнулся и прошептал:

— Пришел тот человек, ваше первосвященство.

— Где он?

— Ждет вас перед храмом.

— Введи его в храм, приставь к нему кого-нибудь, чтобы не сбежал, я сейчас приду.

— Он не собирается бежать, только говорит, что надо торопиться, каждая минута на вес золота.

— Не болтай лишнего, иди и делай, что я тебе говорю.

Покорный служитель без слов удалился из зала.



Его появление было замечено лишь тестем Кайафы первосвященником Анной. Старик бросил пытливый взгляд на зятя. Тот подмигнул ему, давая понять, что все идет, как задумано.

Через несколько минут оба уже были в храме.

— Иуда, это ты? — входя, спросил рыжебородый облаченный в порфиру Кайафа, давая рукой знак служителю принести еще несколько светильников, а самому выйти и стать за дверьми.

Завернутый в синий плащ Иуда, на глазах как будто исхудавший, уменьшившийся в росте, подождал, пока служитель выполнит распоряжение Кайафы и затворит за собой дверь, и только тогда осмелился подать голос.

— Все идет так, как мы... — глаза у него были что пылающие головешки.

— Он один? — прервал его Кайафа.

— С ним одиннадцать апостолов.

— Они вооружены?

— Не думаю...

— Значит, их всего одиннадцать, если не считать его самого?

— Да, одиннадцать.

— Ты поведешь нас?

— Как скажете.

— Он, кажется, в Гефсиманском саду?

— Он любит заглядывать туда. Наверное и сейчас там. Они выпили, и в саду, наверное, прохлаждаются. А нет, так дом Симона прокаженного от сада в двух шагах. До рассвета поднимемся, окружим их, никуда они не денутся.

— Как же мы узнаем его в темноте?

— Я подойду к нему и поцелую. А вы схватите его. Вот и все дела.

— Здесь тридцать серебряников, — Кайафа бросил ему туго набитый кошель, — остальные получишь, когда дело будет сделано. Надеюсь, ты доволен?

— Вполне!

Иуда спрятал кошель за пазухой.

Иисус и трое апостолов уже выходили из Гефсиманского сада, чтобы присоединиться к остальным и продолжить путь к дому Симона прокаженного, как вдруг из Кедронского ущелья, отрезавшего сад от вер-





хней окраины города, вынырнули горящие факелы: раздались голоса нескольких десятков человек. Вскоре вся окрестность заполнилась вооруженными кто чем людьми, которые молча устремились к садовой калитке. На копьяносцах были сверкающие шлемы и доспехи, что говорило об их принадлежности к римскому воинству. Стало быть, иудейским первосвященникам удалось провести корыстолюбивого прокуратора и переманить его на свою сторону.

Симон-Петр, Иаков и Иоанн остановились как вкопанные. Хмель как рукой сняло. Первым побуждением их было спрятаться, но они тут же поняли, что это невозможно. Все дороги оказались перекрытыми. С какой стороны ни глянь — повсюду, дымясь, горели факелы и слышно было, как озверелая, алчущая крови толпа окружала их.

Иисус, не говоря ни слова, пошел вперед, навстречу толпе, в которой признал не одного первосвященника, книжника или фарисея.

— Кого ищете? — спросил он.

— Иисуса из Назарета! — ответили ему, поднося к самому носу горящий факел.

— Это я!

Услышав это, пришельцы отпрянули в страхе и пригнулись к земле, как бы спасаясь от гнева небесного.

— Кого ищете? — опять спросил Христос.

— Иисуса из Назарета! — снова ответили ему, и Иисус понял, что этих несчастных используют как слепое орудие против него.

— Я же сказал вам, это я, — повторил он, — если меня ищете, оставьте их, пусть идут! — он оглянулся на апостолов.

— Врет он, это не Иисус! — крикнул кто-то в толпе — неизвестно, друг ли, враг ли. — Скорее, а то ему помогут ускользнуть!

В это время из толпы выступил завернутый в синий плащ Иуда. Раскрыв руки для объятья, он с возгласом «Равви! Равви!» подошел к Христу и, как было условлено, поцеловал его в щеку.

У Иисуса перехватило дыхание, он вытянул вперед руки, чтобы не дать предателю обнять себя, и, когда ему это не удалось, спросил:







норовил прорваться сквозь ряды римлян и ударить или пнуть его. Симон решил любым способом проникнуть во дворец Кайафы, чтобы самому увидеть, как будут судить Учителя.

Дворец, в котором должно было состояться судилище над Божьим хулителем, пророком из Назарета, был так ярко освещен, можно было подумать, он охвачен огнем. Огонь действительно был разведен слугами первосвященников посреди внутреннего двора, обнесенного высокой оградой.

Улица перед дворцом, двор и сам дворец были полны народом. Толпы любопытствующих, прослышав, что сюда должны привести пророка из Назарета, заранее заняли удобные для обозрения места на подступах к дворцу.

Легионеры и храмовая стража, которые вели Христа, с трудом прокладывали себе путь в толпе, размахивая то копьями, то короткими мечами. Наконец они достигли внутреннего двора.

Симон-Петр вслед за процессией пробивался сквозь толпу. У ворот во внутренний двор стража остановила его. После двух безуспешных попыток проникнуть во внутрь, в третий раз он, воспользовавшись натиском толпы, влетел во внутренний двор, как камень из камнемета.

Но во дворец ему проникнуть не удалось. У входа стояли вооруженные до зубов легионеры, которые и близко ко дворцу никого не подпускали.

Убитый горем Симон-Петр вынужден был отступить. Он бы многое отдал, чтобы узнать, что творилось за этими ярко освещенными окнами. Неужели он никогда больше не увидит Учителя и сегодня беседовал с ним в последний раз?!

Симон задумался, пытаясь восстановить в памяти последовательность событий сегодняшнего дня.

Где находились остальные апостолы, когда Спаситель вместе с тремя учениками вошел в Гефсиманский сад, чтобы вознести молитву Отцу Небесному? Неужели и они попали в руки к жестокому врагу, или, учуяв дух измены, поспешили скрыться?!

Когда Симон спускался с Масличной горы, он увидел Иоанна. Симон тогда еще с удивлением отметил про себя, что рядом с ним не было его брата Иакова.





Иоани быстрым шагом прошел мимо Симона, <sup>делая</sup> вид, будто не знает его. Симон-Петр поступил <sup>точно</sup> так же, хотя и почувствовал укол совести, но он понимал, иначе поступить нельзя.

Неожиданно для себя Симон очутился возле пылающего костра. Только ощутив на себе его жар, он понял, что все это время дрожал от холода, — у него зуб на зуб не попадал.

— Эй, ты! — одна из прислужниц первосвященника вдруг подошла к Симону и, бесцеремонно ткнув в грудь, уставилась на него. — Ты разве не один из них? Ну из тех, кто были с Иисусом Назаретянином?

Симона бросило в жар. Не думал он, что его так легко признают. Он с ненавистью взглянул на выскочку и, повернувшись спиной к огню, чтобы скрыть лицо, сказал:

— С каким еще Иисусом Назаретянином? Ты что, спятила?

— Так ты впервые слышишь это имя?

— Именно так! Хотел бы я знать, о каком Иисусе Назаретянине ты толкуешь?

— Врешь ты, бесстыжий! А ну поклянись! Да нет, я не могла обознаться!

Женщина наступала на Симона, и он оттолкнул ее, чтобы пройти, но тут ей на помощь пришли слуги Кайафы. Они схватили Симона за плечи и повернули лицом к огню.

— Ну, конечно, это один из учеников лжемессии!

— Я не знаю никакого лжемессию, оставьте меня!

— Значит, эта женщина врет?

— Почему ей верите, а мне нет?

— Твоя речь выдает тебя, ты из ихних! Так говорят только галилеяне, и ты, наверное, пришел из Галилеи вместе с этим Назаретянином!

— Да поразит меня гнев Божий, да разверзнется подо мной земля и поглотит меня, если я вру. Как еще вам поклясться, чтобы вы поверили мне? Эта женщина подослана моим врагом, она хочет погубить меня!

Последние слова возымели действие. Симона отпустили, махнули на него рукой: а черт с ним. Воспользовавшись моментом, Симон ретировался и вскоре грелся у огня с другой стороны костра.

Однако и тут ему не удалось отогреться.





— Это он, прихвостень Назаретянина! — крикнул кто-то. — Он из Капернаума, сын рыбака Ионы! И брат у него есть, тот тоже был с ним! Хватайте его! Держите!

— Я ничего не знаю... я никого не знаю... никакого брата у меня нет!

Только Симон произнес эти слова, как где-то рядом прокричал петух. Симон вспомнил слова Учителя: прежде чем закричит петух, ты трижды отречешься от меня. Тогда это казалось ему невозможным, лишенным всякого основания, но сейчас, видя лес рук, в гневе протянутых к нему, он рванул назад, смешался с толпой и потом уже горько разрыдался.

### ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

В зале, где заседали обычно члены синедриона, царили шум и неразбериха. Незадолго до того, как члены синедриона и почетные граждане Иерусалима заняли свои места, дабы рассмотреть дело подсудимого по законам Моисеевой веры, сюда ворвались люди с улицы, которые, похоже, не собирались покидать зал заседания.

Кайафа, человек суровый и надменный, поначалу был возмущен этим неслыханным самовольством и наглостью толпы, ибо, будучи воспитанным в аскетизме и любви к порядку, не терпел малейшей неурядицы, но на этот раз, взяв в расчет то, что изгнание народа силой из зала вызовет большие беспорядки, он из двух зол предпочел меньшее. Кайафа разрешил всем оставаться в зале, но с условием, что будет соблюдаться полная тишина, ничто не помешает работе синедриона.

По размышлении Кайафа пришел к заключению, что присутствие представителей народа на процессе имеет свои преимущества. Получалось, что галилейского обманщика, плотничье отродье, выдававшего себя за Сына Божьего, Христа и Царя Иудейского, будет судить сам народ иудейский, а синедрион лишь подтвердит вынесенный приговор.

Иисус чувствовал себя всеми брошенным, одиноким. Рядом не было никого, кто мог бы посочувствовать ему, разделить с ним его чувства. Когда его, босого, в растерзанной одежде ввели в зал, толпа загуде-



ла, люди повскакали с мест, бросились к нему, стали бить, пинать ногами, плевать в лицо.

— Попался! — кричали они. — Некуда бежать, да?!

— Ах, ты бездельник! Куда ты подевал свой венец и скипетр?

— А говорил, что Сын Божий! Покличь папашу! Какой отец не поможет сынку! На худой конец позови плотника!

— Прореки, кто это ударил тебя?!

И снова оплеухи, пинки, плевки, тумачи... Иисус едва стоял на ногах. Глаза полуприкрыты, все лицо в крови.

— Будешь еще болтать, я то, да я се?

— И творить свои лжечудеса будешь?

— Кто дал тебе право дурачить народ?

Члены синедриона и почетные граждане Иерусалима сидели по одну сторону длинного стола. Обвиняемый должен был стоять посреди зала прямо перед ними.

Кайафа поднялся, зазвонил в серебряный колокольчик, давая понять людям, что пора занимать свои места.

Копьеносцы подождали, пока народ, утоливший свое желание поиздеваться и унижить галилеянина, станет у стен, и вывели обессиленного Иисуса на середину зала, куда перстом указывал Кайафа.

Но тут выяснилось, что избитый, истощенный бессонными ночами и длительным постом Иисус не мог стоять без посторонней помощи. Как только стражники отошли от него, у него подкосились ноги и он осел на пол. Стражники вынуждены были поднять его и поддерживать до конца заседания.

Но и это не помогло. Обвиняемый время от времени терял сознание и, естественно, не мог отвечать на задаваемые ему вопросы. Впрочем, как выяснилось, он и не был намерен давать исчерпывающие и убедительные ответы на них. Он отвечал лишь в том случае, если считал это необходимым, что весьма нервировало и без того раздраженных судей и еще больше восстанавливало их против него.

Первый вопрос задал ему сам первосвященник Кайафа.



— Скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?

Иисус поднял глаза, но посмотрел не на Кайафу, а сквозь него.

— Отвечай, почему молчишь? — Кайафа старался придать голосу мягкость. Он был уверен, что на этот главный вопрос обвиняемый ответит отрицательно, и ему придется вызывать специально подготовленных свидетелей.

Однако Иисус не оправдал ожиданий первосвященника. Облизнув спекшиеся от крови губы, он спокойно произнес:

— Если я скажу: «да», вы мне не поверите и ответить не дадите, и отсюда не выпустите. Сила на вашей стороне! Отныне Сын Человеческий сядет по правую руку от Всевышнего.

Наглость обвиняемого поразила весь синедрион. Это ведь было чистой воды богохульством! Сын Человеческий равнял себя со Всевышним! Все повскакали с мест, разгневанные и возмущенные.

— Значит, ты Сын Божий? — вскричали они в один голос.

Толпа зароптала. Кайафа понял, еще мгновение, и она станет неуправляемой. Он поднял руку со сверкающим перстнем на указательном пальце, призывая зал к спокойствию, и как бы за всех еще раз спросил у обвиняемого.

— Значит, ты Сын Божий?

— Ты сам сказал это, — кротко ответил Иисус. Зал снова загалдел.

— Какие еще нужны свидетели? Он сам признался в том, в чем его обвиняют!

— Порядок и терпение, достойные мужи! Не будем изменять обычаю! — призывал к порядку не менее возмущенный Кайафа. Он нервно провел рукой по рыжей бороде и оглянулся на тестя. — Первосвященник Анна хотел задать несколько вопросов. Мы слушаем его.


Анна, кивнув зятю в знак благодарности, поднялся и неожиданно тонким, никак не подходящим старцу голосом, спросил у Иисуса:

— Равви, не скажешь ли ты нам, чему ты учил народ в синагогах?









Взревела и толпа в зале. Призванный на помощь дополнительный отряд легионеров с трудом сдерживал ее. В воздух полетели сандалии, шапки, пояса, палки, костыли... Швырялись всем, что попадало под руку, и цель была одна — Иисус. Кое-кто не рассчитал силу броска и угодил прямо в стол, за которым в этот миг бесновался синедрион. Со звоном разбился драгоценный кувшин. Вода растеклась по столу и неслышно закапала на пол.

Охрипший от крика Кайафа в конце концов сумел утихомирить зал и зачитать вслух заранее составленный приговор, согласно которому пророка из Назарета, сына плотника Иосифа и его жены Марии Иисуса на основании предъявленных ему первосвященником Анной обвинений ждала смертная казнь.

Приговор был принят с криками одобрения. Слух о том, что Назаретянина осудили на смертную казнь, вмиг облетела многолюдный двор, улицы и ближайšie кварталы города.

— Что просишь у синедриона? — одержавший победу, Кайафа, наконец, позволил себе расслабиться.

Христос ничего не ответил — он не слышал вопроса. Поддерживаемый двумя легионерами, он стоял, уронив голову на грудь.

## ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Люди в зале не трогались с места. Они полагали, что исполнение приговора будет немедленным, и не хотели пропускать это достопримечательное событие, но приговор синедриона, тем более, если он предусматривал смертную казнь, не имел никакой силы без утверждения римских властей, в данном случае лично Понтия Пилата.

Дело не терпело отлагательства. Если сегодня же приговор не привести в исполнение и разом не покончить со смутьяном из Назарета, кто мог поручиться, что тысячи его последователей и учеников, которыми в эти пасхальные дни буквально кишел Иерусалим, не устроят беспорядки и не сделают попытки вырвать из рук правосудия своего лжемессию?!

Поэтому первосвященники и старейшины решили не дожидаться рассвета и немедленно отправиться в



преторию — бывшие палаты Ирода Великого, занимаемые ныне римским прокуратором, разбудить прокуратора и потребовать утверждения вынесенного синедрионном приговора.

— Его ведут к Пилату! — крикнул кто-то во дворе. — В преторию!

— К Пилату! К Пилату! — взревела толпа на улице, и людской поток устремился к крепости святого Антония, где находилась претория. На площадях и перекрестках к нему присоединялись толпы людей, еще не знавших об аресте Спасителя и суде над ним.

— Куда вы, правоверные, куда? — спрашивали они своих сограждан, сломя голову несшихся куда-то.

Но никто не отвечал им. Каждый в толпе, женщина ли мужчина, молодой ли старый, стремился раньше других добежать до ненавистного дворца, чтобы там, на площади или выложенном плитами квадратном дворе, где с утра до вечера маршировали легионеры, строевым шагом улаживая слух прокуратора-солдафона, занять такие места, откуда можно будет увидеть и дворец, и тех, кто входит и выходит из него. Лишь очень немногие, не замедляя бега, бросали вопрошающим:

— К Пилату! В преторию! К Пилату!

Пилат в ту ночь лег очень поздно. Накануне он крепко выпил и теперь, услышав неясный гул с улицы, долго не мог понять во сне он слышит его или наяву. А гул снаружи все нарастал. Пилат открыл глаза. Казалось, табун диких лошадей несется на дворец. Откуда взялись лошади, или Бог снова разгневался на иудеев?!

«Да-а, — Пилат, приподнявшись, дотянулся полной волосатой рукой до золотого колокольчика. — Мало им было той расправы, когда я смешал их кровь с кровью жертвенных животных? Ну что ж, они получают свое».

На звон колокольчика открылась дверь, и в комнату вместо вооруженного стражника, охранявшего сон господина, вошел начальник караульной центурии, и только после него появился стражник. Центурион, как видно, давно уже маялся у дверей, в ожидании, когда прокуратор изволит позвонить, чтобы войти и доложить ему о происходящем.

— Что там? Почему шум? — Пилат в нижнем бе-



лье сидел на краю постели и лениво шарил по полу ногами в поисках ночных туфель.

— Явились иудейские первосвященники, — сообщил центурион, — члены синедриона. Требуют немедленной встречи с тобой.

— Я этот синедрион и этих первосвященников... — Пилат не выспался и был зол. Центурион нагнулся, чтобы подать ему ночные туфли, но он опередил его и, энергично зашарив ногами, нашел их. — Что за спешное дело?! — спросил он, вставая. — Не могли выбрать более удобного времени? Ведь еще даже не рассвело!

— Прошу прощения, я не должен был тебя беспокоить. Я так и сказал им, даже пригрозил, но... явился сам Кайафа, их главный первосвященник. Кроме того, площадь, двор и ближние улицы забиты народом. И народ все прибывает. Изволь взглянуть сам.

Пилату это показалось дурным знаком. Накинув на широкие плечи халат из восточной парчи, он подошел к высокому окну, выходящему на просторную площадь, и, увидев море людей, застыл в изумлении.

— Что это значит?! Чего желает Кайафа? Почему он привел эту толпу ко дворцу?

— Они доставили сюда Иисуса из Назарета. Синедрион осудил его на смертную казнь.

— Кто он, этот Иисус из Назарета?

— Галилейский пророк, утверждающий, что он Сын Божий, Царь Израильский!

— Ах, да! Помню, помню! Мы поручили это дело Валерию Грату. Гм, Царь Израильский! Так его уже схватили?

— И схватили, и осудили!

— Ничего не скажешь, молодцы! Чего же от меня хотят?

— Утверждения приговора.

— И для этого надо было будить меня ни свет, ни заря?

— Они боятся. Если не казнить его немедленно, в городе могут вспыхнуть беспорядки. Они говорят, он опасный человек, возмутитель спокойствия, поднимающий народ против божественной власти Рима. У него немало сторонников, которые могут попытаться освободить его.

— Ах так? Пригласи Кайафу и сопровождающих



его в зал. Будь с ними любезен — они люди кляузные. А я сейчас выйду.

— Я им уже предложил пройти в зал, но они отказались. У них — большой праздник, и вера запрещает им входить в эти дни в дома, как они говорят, язычников. Это осквернит их.

Пилат скрипнул зубами и махнул рукой. Центурион и стражники поняли этот жест как разрешение удалиться. По-военному повернувшись, они чеканным шагом направились к двери.

Через полчаса Понтий Пилат в парадной одежде, перехваченной широким поясом с золотой пряжкой, в сопровождении высоких военных чинов и гражданских чиновников вышел в крытую колоннаду дворца, где находились иудейские первосвященники и другие члены синедриона, и опустился в специально приготовленное для него кресло. Все остальные стояли и ждали, пока прокуратор соблаговолит обратить на них свой взор.

Первосвященник Кайафа почтительно выступил вперед и, склонив голову перед расслабившимся в кресле Пилатом, доложил о причине столь раннего их визита.

Пилат сидел, опустив голову и прикрыв глаза. Кайафа запинался, голос у него дрожал от волнения — не уснул ли прокуратор, грешная душа. Но прокуратор не спал, холодная вода, которой он умылся, отогнала остатки сна, и теперь, прикрыв глаза, он вспоминал подробности вчерашней гульбы, краем уха слушая закипавшего гневом первосвященника.

— Приведите его ко мне! — приказал Пилат, когда Кайафа закончил свою речь и перевел на латынь приговор, вынесенный синедрионом.

Два рослых легионера ввели босого избитого Иисуса. Одежда на нем была разорвана.

— Ты царь Иудейский? — насмешливо спросил его по-латыни Пилат.

Иисус поднял глаза, с трудом разжал разбитые губы и что-то прохрипел.

Пилат отогнул ладонью правое ухо.

— Громче! Я не слышу!.. Ты — царь Иудейский?

— Ты говоришь, что я — царь!

— Я говорю? А ты не говоришь?

— Царство мое не от мира сего. Если бы оно было





от мира сего, то слуги мои сражались бы и пролили кровь за то, чтобы не передавали меня в руки иудейских первосвященников.

— Так, значит, ты все-таки царь?

— Ты говоришь, что я — царь, — повторил Иисус, — я был рожден и послан в этот мир для одного: свидетельствовать истину. Каждый, кто на стороне истины, прислушивается к моему голосу.

— Откуда ты знаешь латинский?

— Я выучился ему в Египте, где прошло мое детство...

— Ну и оставался бы там, так нет, вернулся на мою голову. Ты поднимаешь народ против цезаря, учишь его не платить подать ему?

— Я учу народ воздавать цезарю цезарево, а Богу — Богово!

— Правильно! — неожиданно сказал Пилат, который проникался все большей симпатией к безответной жертве. — Я не нахожу за ним никакой вины, — заключил он, бросая взгляд на превратившегося в слух Кайафу.

— Он утверждает, что он Христос!

— И ты утверждай, Кайафа, кто тебе мешает!

— Изволишь насмехаться, прокуратор? Может быть, послушаешь и других?

— Кто хочет высказаться? — Пилат обвел тяжелым взглядом присутствующих. — Я готов выслушать каждого!


Этого было довольно для того, чтобы первосвященники, до сих пор хранившие молчание, стали изрыгать накопившуюся в душе злобу. Они припомнили Иисусу все — неоднократное осквернение субботы, оскорбление священнослужителей, проповедь трапезы с немытыми руками, его чудеса — воскрешение из мертвых и исцеление неизлечимых больных, в том числе и одержимых бесами. Лживое утверждение, будто он потомок Давида, Сын Божий, Спаситель, Мессия, в то время как в действительности он отродье назаретского плотника и жены его Марии.

Пилат, подняв руку, остановил поток обвинений.

— Почему ты молчишь? — обратился он к Иисусу. — Ты же слышишь, чего только тебе не ставят в вину!

Но Иисус не произнес ни слова в свое оправдание,





чем немало удивил прокуратора. Пилат уже убедился, что пророк из Назарета был невинен. Обвиняющая сторона не смогла привести ни одного убедительного довода, подтверждающего его вину, что делало приговор синедриона необоснованным, а утверждение его весьма сомнительным.

Кайафа понял, дело оборачивается против него и его присных. Собрав все свое мужество и придав лицу непреклонное выражение, он с нескрываемой угрозой обратился к прокуратору, полновластному властителю их судеб:

— Клянусь Всевышним, мы этого так не оставим!

— Чего не оставите? — щетинистые брови Пилата слились в одну линию.

— Того, что ты не хочешь утвердить законный приговор синедриона и предать осужденного в руки палача.

— А если он не виновен? Позволить вам осудить на смерть безвинного?

— Мы будем жаловаться цезарю!

Пилату не понравилась угроза первосвященника.

— Ты слышал? — обратился он к Иисусу, который стоял, уронив на грудь голову. — Столько старейшин сразу вместе ополчились против тебя, что бы ты делал на моем месте?

В это время в поле зрения Пилата возник центурион. Как видно, у него было важное сообщение, и он знаком просил у прокуратора позволения приблизиться к нему. Получив разрешение, центурион неслышно подошел к прокуратору и что-то зашептал ему в ухо.


Пилат изменился в лице.

Его жена, на которой он женился по расчету, но которую тем не менее любил, велела передать ему: не причиняй вреда Иисусу из Назарета, не слушай иудейских первосвященников, я убеждена, что он пророк, не навлеки на себя гнев Божий. Неделю назад у Пилата вышла размолвка с женой, не надеясь на примирение, он все эти дни пил горькую, срывая свою бессильную ярость на подчиненных, поэтому наказ жены был столь же неожиданен, сколь приятен и еще более укрепил его в желании не карать осужденного.

— Иди! — приказал Пилат центуриону, который поспешил к госпоже с утешительной вестью.

Нетрудно догадаться, что после ухода центуриона





римский правитель стал склоняться на сторону Иисуса. И не прояви первосвященники упорства, дело, которое было почти сделано, могло пойти прахом, что дало бы не таким уж немногочисленным сторонникам Назаретянина возможность использовать это в свою пользу. Поэтому, не церемонясь, первосвященники послали на площадь своих людей с тем, чтобы они возмутили толпу, и сами прибегли в дальнейших переговорах к угрозам и ультиматумам.

Пилат по натуре был трусливым человеком. Больше всего он боялся народного возмущения, и, когда со стороны площади раздались неумолчный гул и грозные выкрики, он дрогнул.

Чего требовала от него толпа — наказания или милости?

Если милости, ничего не могло быть проще, но что делать, если это людское море, способное снести на своем пути все и вся, поддерживает синедрион и вынесенный им приговор?! Ему ничего не остается как уступить и послать безвинного на смерть. Но что сказать жене, она ведь никогда не простит ему этого?!

Однако более всего Пилата мучила мысль — что если этот человек действительно пророк, как утверждала Клавдия Прокула, и, несправедливо покарав его, он навлечет на себя гнев Божий?!

Пилат встал, подошел к перилам колоннады, намереваясь успокоить бушующую внизу толпу, но тут же передумал.

— Как ты сказал, откуда этот ваш лжемессия? — обратился он с вопросом к Кайафе.

— Из Назарета, — быстро ответил Кайафа в надежде, что прокуратор, наконец, решил судьбу осужденного и уже не передумает.


— Где находится этот Назарет? — Пилат сощурил глаза, как бы пытаясь что-то вспомнить.

— В Галилее.

— Да, конечно, в Галилее, — повторил Пилат и кивнул головой. — Я как прокуратор Иудеи, Самарии и Идумеи не имею права карать галилеянина. Тетрарх Галилеи, как мне известно, по случаю Пасхи находится сейчас в Иерусалиме, так что вам лучше обратиться к нему.

Хитрый и коварный Пилат естественно разыгрывал





комедию, не желая участвовать в казни Назаретянина, он приложил бы все усилия, лишь бы только уйти от неприятной ответственности, и лишь с этой целью вспомнил о тетрархе Галилеи Ироде-Антипе. Так или иначе, но ни Кайафа, ни синедрион не могли принудить прокуратора самому решить этот вопрос, и, хотели они того или нет, вынуждены были покориться и апеллировать к тетрарху.

Народ на площади бушевал, громко выражая свое недовольство. Недовольство переросло в ропот, когда кто-то упомянул имя Ирода-Антипы, — это означало, что дело затягивается, но именно в этот момент на площади показалась сирийская когорта, состоящая из закованных в броню всадников. Когорта заняла все выходы из площади, и недовольные, вынашивающие мысль о мятеже и о вовлечении в него окружающих, немедленно присмирели.

Жаждающая кровавого зрелища толпа подождала, пока приговоренного к смерти Иисуса Христа вывели на площадь, затем в нетерпении повернулась и последовала за конвоем, окружавшим обессиленного Спасителя, копьями подталкивающим его в сторону форума, рядом с которым утопающий в зелени стоял дворец, служивший царской резиденцией в Иерусалиме.

Тетрарх и его домочадцы в сопровождении блестящей свиты вышли встречать пришельцев к мраморному фонтану. Царица Иродиада не желала, чтобы грязная толпа, распространяющая вокруг себя запах овечьей требухи, проникла в палаты дворца.

Ироду было известно все, что творилось в стольном городе Иерусалиме, вплоть до мельчайших подробностей, он издали наблюдал за происходящим. Его заранее известили о желании Пилата предоставить тетрарху решать судьбу пророка из Назарета, и, охваченный двойственным чувством, он с нетерпением ждал появления человека, которого верховные жрецы иудейской веры обрекли на смерть.

Ирод хорошо помнил первое появление Иисуса, помнил, как он мучился сомнениями — не Иоанн ли это Креститель, которому он отсек голову, воскрес из мертвых, чтобы воздать ему должное. Страх стал постоянным его спутником, лишил сна и покоя, но Назаретянин сторонился дворца, проявлял полное равнодушие



к делам тетрарха, да и Иродиада, гроза злоречивых пророков, не требовала его головы, и Ирод все откладывал и откладывал встречу с ним.

— Это ты тот человек, что показывает людям чудеса? — спросил он Иисуса, когда копьеносцы подвели его к нему, а сами удалились на почтительное расстояние. — Может быть, ты и нас порадуешь каким-нибудь забавным чудом?

Свита угодливо захихикала в ответ на эти шуточные слова тетрарха.

Иисус хранил молчание, что дало возможность тетрарху, весьма довольному собственным остроумием, щегольнуть им еще раз.

— Не надо раздумывать, я в долгу не останусь! С этими словами он бросил украдкой взгляд на полуобнаженную грудь Иродиады, на которую ниспадало длинное золотое ожерелье, посверкивающее драгоценными камнями, и, как простой лавочник с иерусалимского базара, сглотнул слюну, что, представьте, совершенно не обидело царицу.

— Говорят, ты из наших краев, из Назарета, хотя и рожден в Вифлееме?

Иисус, опустив голову, молчал.

— Когда ты родился? Это когда волхвы пришли с Востока?

Иисус безмолвствовал, глядя куда-то в сторону.

— Это разве не из-за тебя блаженной памяти отец наш Ирод Великий устроил в Вифлееме избиение младенцев, желая погубить новорожденного царя Иудейского! Каков гусь, а? Хочет сказать, что провидение тогда спасло его, и теперь он единственный законный наследник престола!

Не получив и на этот раз ответа, оскорбленный Ирод обратился сперва к Иродиаде, а затем к стоящим вокруг него первосвященникам:

— Может быть этот человек глухонемой?!

Кайафа, весьма довольный таким оборотом дела, кашлянув, прочистил горло.

— Ваше величество, — сказал он, не отрывая взгляда от ненавистного Назаретянина, — он оглох и онемел, когда его схватили на месте преступления, и теперь не знает, как выкрутиться!

— И все же в чем его обвиняют?



— Мы подробно доложили обо всем прокуратору Пилату и попросили его, как того требует закон, утвердить наш приговор. Прошлой ночью синедрион осудил его и приговорил к смерти.

— Зачем же его привели сюда?

— Пилата убедили, что у синедриона нет достаточных оснований для вынесения смертного приговора.

— А что я вам дам их? Об этом вы сами должны были позаботиться. Если за этим человеком нет вины, как утверждает Пилат, я не возьму на себя грех и не пошлю на смерть безвинного. И все же какие обвинения вы ему предъявляете?

— Первое — он объявил себя пророком и Сыном Божьим, хотя на деле является отродьем нищего назаретского плотника Иосифа и его жены Марии. Второе — дурачил невежественный люд, утверждая, что он Христос, Мессия. Третье — восстанавливал народ против божественного Рима, призывал его не платить налогов цезарю, и, наконец, четвертое и самое главное — требовал поклонения себе как царю Иудеи!

Ирод в душе было решил не плясать под дудку коварного Пилата и отправить осужденного обратно к нему, но обвинения, перечисленные первосвященником, настроили его против Иисуса, а услышав о последней, четвертой его вине, он вознегодовал, и, обернувшись к нему, гневно спросил:

— Это правда, что о тебе говорят?

Иисус хранил молчание, моля в душе Господа дать ему силы вынести все муки, что уготовили ему пребывающие во тьме неверия соотечественники.

— Нет, вы только взгляните на царя Иудейского! — Ирод не смог совладать с накатившей на него злобой. Лицо его исказилось, что случилось с ним в минуты иступленного гнева, и, видя, что даже пытки и избивание, которым подвергся осужденный, не сломили его, плюнул ему в лицо. Плевков попал Иисусу между глаз, но он не дрогнул, даже не попытался утереть лицо.

«Не так надо плеваться!» Свита Ирода и солдаты окружили несчастную жертву и, чтобы угодить тетрарху, стали плевать в него, ругать непристойными словами, бить и пинать ногами.

Иисус не сопротивлялся, стоял, пока хватило сил,



терпеливо перенося все оскорбления. Лишь сиротливая слеза выкатилась из глаза и повисла на реснице. Скулы его были разбиты, кровь капала на плитняк с окровавленной бороды.

«За что? — вопрошало трепещущее его сердце. — Что я им сделал плохого? Ведь, кроме добра, я ничего не принес людям!»

Но Ироду все было мало. Он послал во дворец за порфирой, в насмешку вырядил в нее Иисуса, надел ему на голову терновый венок и отправил назад в преторию: утверждение смертного приговора — дело римлян, и этого шута, царя Иудейского, хотят — пусть распинают, хотят — пусть молятся на него.

Изнемогая от хохота, толпа следовала за вооруженным конвоем, сопровождавшим еле передвигавшего ноги Иисуса, и плюя в него, кричала:

— Будешь еще говорить, что ты Сын Божий и пророк?!

— А ему идет багряница и венец, что скажете, люди?!

— Радуйся, царь Иудейский!

— Ах ты, лодырь этакый! Много еще в Назарете таких царей и пророков, как ты?! Хотел взойти на престол и на тебе, взошел! Будешь еще говорить, что четверовластник Ирод — дурной человек?!

## ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Понтий Пилат завтракал, когда ему доложили, что толпа вновь окружает преторию.

— А его ведут назад?

— Да, прокуратор.

Пилат выругался и велел отвести осужденного и сопровождающих его на лифостратос, или гаввафу по-еврейски — возвышенное место во дворе дворца, где под сенью естественных зарослей любил сиживать Ирод Великий.

Отсылая Назаретянина и обвинителей его к тетраρχу, которого терпеть не мог, Пилат прекрасно понимал, что ничего путного из этого не выйдет. Но ничего лучшего он придумать не мог, чтобы избавить себя от необходимости сплеча утвердить приговор синедриона и, как говорится, бросил сеть наугад, авось что-нибудь и



вытянет. Но не вытянул, да и не мог вытянуть. Ирод, как видно, догадался, что по каким-то соображениям Пилат не хочет приговаривать осужденного к смерти, не съел наживку и теперь издали наблюдал, как он будет выкручиваться из этого запутанного дела.

«Ну погоди, — думал про себя Пилат, — придет время, и ты споткнешься, и я тебе понадоблюсь. Тогда не жди от меня пощады, впрочем, я тебя никогда не щадил».

Перед тем как выйти к людям, он переоделся в тунику, поверх нее надел белую тогу. Пилат любил красиво одеться, в полном параде он чувствовал себя уверенным и сильным.

На лифостратосе его уже ждали первосвященники с осужденным. Пройдя двойное оцепление, Пилат поднялся на возвышение и, желая подкупить сердца первосвященника и старейшин, обратился к ним по-восточному витиевато и, пожалуй, даже высокопарно:

— Благородные учителя иудейской веры, избранные среди иудеев! Вы привели ко мне этого человека, — он пальцем указал на выряженного Иродом Иисуса, — утверждая, что он подстрекает народ против божественного Рима и самого цезаря, заражает его духом непокорности. Благороднейшие служители иудейской веры, избранные среди иудеев! Я со своей стороны изучил это дело и никакой вины не нахожу за ним. Он, по моему глубокому убеждению, не совершил ничего такого, за что его следовало карать смертью. Как галилеянина я отправил осужденного к тетрарху Галилеи, но он прислал его назад, как видно, и тетрарх не признал приговор синедриона законным.

— Но мы требуем его исполнения! — жестко произнес Кайафа и ударил посохом о плитняк. Его немедленно поддержали другие первосвященники и старейшины.

Пилат почувствовал, как к лицу его прилила кровь. Он понял, нелегко ему будет переубедить этих фанатиков, и в душе призвал проклятия на голову тетрарха, ничего не сделавшего, чтобы избавить его от произвола вонючей толпы.

— Наше решение единодушно! — Кайафа уловил нерешительность Пилата, что наполовину было уже по-



бедой, и твердо добавил: — Мы требуем утверждение приговора!

— Требуем!.. Требуем!.. — раздалось в толпе.

— Слышишь, — Кайафа кивнул в ту сторону, откуда доносились выкрики, и с видимым удовольствием провел рукой по рыжей бороде, — приговор синедриона — это приговор иудейского народа.

«Да пропадите вы пропадом! Хоть изничтожьте друг друга, не все ли мне равно, но что сказать жене, или какой ответ держать перед богами, если этот бродяжка действительно пророк, посланный людям?!» Пилата одолевали сомнения, он не терял надежды вырвать осужденного из рук смерти. Это надо было сделать так, чтобы не оскорбить достоинства первосвященников. В противном случае они могли ополчиться на него и, пользуясь огромным влиянием в народе, доставить прокуратору достаточно неприятностей.

У иудеев издревле существовал обычай, и римские власти не противились ему, по случаю великого праздника Пасхи дарить свободу одному из узников, которого избирал народ.

Чтобы расположить к себе местных жителей и показать, что Рим с уважением относится к священным обычаям израильского народа, Пилат, топивший в крови любое народное движение, покорно следовал древнейшей традиции иудеев и каждую Пасху на глазах у всего народа и по его выбору освобождал по одному заключенному. Израильтяне всегда с нетерпением ждали этого счастливого дня, когда они соберутся вокруг претории и потребуют свободы для того, кого они пожелают осчастливить.

В настоящее время в темнице стольного города сидел некто Варавва, убийца, злодей и зачинщик случившихся беспорядков, приговоренный к смертной казни. Приговор ему вынесли недавно и после праздников должны были привести в исполнение.

Пилат вспомнил о Варавве и древнем обычае иудеев и, подойдя к краю лифостратоса, громким голосом обратился к народу:

— Иудеи! В темнице сидят три узника, приговоренные к смерти! Все знают, за какие грехи! Я готов отпустить одного из них, на которого вы укажете!



— Отпусти Варавву! — захохотала толпа. — **Убей** остальных и отпусти Варавву!

— А может быть отпустим «царя Иудейского»?

— Нет, убей его и отпусти Варавву!

— Вы хотите убить своего царя?

— Нет у нас царя, кроме цезаря, и никого другого мы не хотим! — вопила чернь. — Если отпустишь его, ты не друг цезарю! Всякий, делающий себя царем, противник цезарю!

«Проделки Кайафы, его люди подзуживают толпу, и она вторит им, боясь за свою шкуру», — подумал Пилат, но он все же еще раз попытался склонить толпу на свою сторону:

— Опомнитесь, люди, подумайте, чего вы требуете, как бы потом жалеть не пришлось!

Первосвященники, все как один, вызывающе безмолвствовали, толпа же снизу отвечала яростным криком:

— Убей его!.. Распни, распни его!

— В чем он провинился перед вами? Я никакой вины не нахожу за ним! И Ирод не нашел. Безвинного предадим смерти?

— Он отрекся от Бога, распни его!

— Последний раз спрашиваю, наказать или помиловать?


Пилат все еще не терял надежды, но, когда народ внизу еще яростей прокричал ему то же самое, он отвернулся от него и велел слуге принести чашу с водой.

— Раз так, я освобождаю Варавву, — крикнул в толпу Пилат, — а с царем Иудейским поступайте так, как велит вам ваш закон! — Он бросил взгляд на поднесенную слугой чашу с водой, как бы не припоминая, зачем она ему понадобилась здесь, и затем решительно опустил в нее руки. — Не виновен я в крови этого праведника! Смотрите, я умоваю руки! А с вас спросится за этот грех!

— Да, кровь его на нас и наших детях! — радостно вопила чернь, ликуя от того, что сломила сопротивление Пилата, и отныне жизнь Иисуса из Назарета в ее руках.

Из темницы вывели Варавву. Здоровый, со взъерошенными волосами и бородой, он шнырял алчными глазами как бы в поисках новой жертвы, все еще не





веря, что ему действительно подарена жизнь. Легионеры вытолкнули его на площадь и целым и невредимым сдали толпе, с такой настойчивостью требовавшей его освобождения. Появление злодея было встречено ревом одобрения и аплодисментами, а потом уже озверелая, сумасшедшая толпа занялась Иисусом.

Впрочем, далеко не все, находящиеся в ней, жаждали его смерти. Особенно это касалось женщин. Покрыв головы платками, они молча стояли в толпе, глотая безутешные слезы.

Иисус заметил, их было немало в толпе и, собрав остаток сил, обратился к ним напоследок:

— Дочери иерусалимские! Не плачьте обо мне. Плакивайте себя и детей своих, ибо приближается время, когда люди скажут: «Блаженны бесплодные и никогда не рожавшие, и никогда не вскармливавшие грудью!» И скажут они горам: «Обрушьтеесь на нас!» А холмам: «Покройте нас!» Ибо, если люди делают такое в хорошие времена, что же будет, когда настанут времена трудные?

Не успел Иисус договорить последние слова, как, разрезая толпу, к нему приблизился палач. Он надел ему на шею веревочную петлю, конец ее сунул себе под мышку, и, сжав железной рукой локоть обессиленной жертвы, подтолкнул ее вперед: «Пошли!»

Несмотря на то, что приговоренного к смерти охраняли несколько копьеносцев, ухорезам все же удалось огреть его тростником по спине. При этом они неизменно кричали: «Радуйся, Царь Иудейский!»

Рядом вышагивали вытащенные из подземелий темницы два злодея, которые сидели со смертником Вараввой, а теперь вместе со Спасителем должны были быть преданы распятию.

Не покидая лифостратоса, Пилат призвал к себе каллиграфа и приказал на одной из досок, что прибивались к кресту над распятым, вывести на трех языках — греческом, латинском и арамейском: «Иисус из Назарета, Царь Иудейский».

Первосвященники по размышлении поняли, что надпись, выполненная старательным мастером, оскорбительна для них, о чем не преминули намекнуть прокуратору:

— Не пиши, — сказали они, — «Царь Иудейский».



Никакой ведь он не царь! Вели написать, что он гово-  
рил: «Я — Царь Иудейский!»

Пилат был явно не в духе. Он еще не пришел в себя после вчерашней бурной ночи, а события сегодняшнего утра отнюдь не способствовали улучшению самочувствия. Он не удосужился принять к сведению, что говорили эти каркающие вороны, проповедники ада, как называл он за спиной иудейских первосвященников, и, махнув рукой, отрезал:

— Что мной написано, то написано!

Между тем многочисленная восторженная толпа, сопровождавшая Иисуса к месту казни, миновала форум, цирк и направилась к городской стене, за которой находилась горная возвышенность, называемая Голгофой.

Когда из подвала извлекли приготовленный для Иисуса грубый крест из сикоморового дерева (остальные два креста, предназначенные для двух злодеев, уже подняли на Голгофу, где предстояло быть казни), кто-то из толпы крикнул:

— Пусть он сам несет свой крест! — голос прозвучал по-арамейски, и у Спасителя сердце сжалось от обиды. — Почему кто-то другой должен нести его крест!

Мысль эта понравилась толпе, и ее немедленно привели в исполнение. Десятки рук подхватили тяжелый крест из сырого дерева и, как перышко, перенесли над головами во главу процессии, где с веревочной петлей на шее еле тащился Спаситель. Тут крест опустили и водрузили несчастному на плечо. Искры посыпались из глаз Иисуса от тяжести, придавившей его к земле, и отчаянной боли. Но он не замедлил шага, хотя в глазах потемнело и люди вокруг него превратились в безликие неясные тени. Лишь пару раз споткнулся и чуть не рухнул на землю.

— Не дойдет этот недоносок, откинет копыта!

— Пусть это будет моей последней бедой, и не такие умирали!

— Что же мы будем распинать мертвого?

— Коли ты так боишься за него, возьми у него крест и тащи сам!

Однако тому, кто затеял этот разговор, не пришлось беспокоиться. Впрочем, жалея вслух согбенного



под тяжестью Христа, он вовсе не собирался брать на себя его ношу. Это, естественно, должен был сделать кто-то другой. И этот другой вскоре нашелся, ему велено было взвалить на себя крест, и процессия продолжила путь. Человек, понесший крест Спасителя, оказался бедным селянином из Кирены. Звали его Симоном. Он шел из виноградника, когда римские воины преградили ему путь и приказали поднять крест на Голгофу. Бедному человеку не позволительно выражать неудовольствие или удивление, поэтому Симон покорно поднял крест, положил его на плечо и, как преданный бык, стал подниматься в гору.

Голгофа была голой, как череп, горой, лишенной всякой растительности. Было время, когда иерусалимская беднота пасла здесь свой домашний скот, но знойное солнце и сухой ветер из пустыни выжгли остатки растительности. Сейчас здесь в специально вырытые ямы сваливали и жгли мусор, который поднимали на тележках, арбах и повозках. Остатки мусора гнили под жаркими лучами, и от горы исходило зловоние, проникавшее даже в город.

Затеявший все это дело Кайафа мог избрать для казни иное место и избрал бы, конечно, но всем другим местам он предпочел Голгофу, потому что, распиная здесь Иисуса, хотел унижить его в глазах его учеников и последователей, оскорбить и отомстить за все, а после казни буквально втоптать его тело в городскую грязь и нечистоты.

Заблаговременно было приказано не трогать трупы распятых. Они должны были валяться непогребенными до тех пор, пока вороны не растерзают их плоть, а зной и ветры не иссушат их кости.

Первой на Голгофу поднялась молодежь из предместий Иерусалима. Привлеченные предстоящим зрелищем юноши и девушки огласили гору радостными криками, затем показались нарядно одетые граждане. Они собирались на ровной площадке, где, по их предположению, должна была состояться казнь. Слышались радостные возгласы и восклицания, все с нетерпением ждали, когда наконец покажется Иисус в сопровождении палача и конвоя.

Ждать им пришлось не так уж долго.

Голову изнемогшего Христа по-прежнему венчал тер-



новый венок. Несмотря на отчаянную боль в разбитом теле и муку, причиняемую впившимися в лоб колючками, он шел спокойно, смирившись с судьбой. Тонкие струйки крови, стекавшие по лицу и шее, посверкивали в косых лучах клонящегося солнца.

Поодаль от Иисуса шли палач с перекинутым через плечо концом веревки и римские воины, за ними виднелся покачивающийся в воздухе огромный крест, на котором, согласно приговору синедриона, утвержденному прокуратором Пилатом, должны были распять Спасителя. Крест нес взмокший от пота Симон Киринейский.

Добравшись до ровного места, легионеры стали освобождать его от собравшейся здесь толпы. Люди поняли, почему их сгоняют с места, — именно здесь должны быть воздвигнуты кресты, — и безропотно отступили назад.

Иисус первым ступил на широкую площадку, окаймленную живыми стенами. Палач нагнал его и остановил, положив ему на плечо тяжелую руку.

— Попить не хочешь, Царь Иудейский? — спросил один из сопровождавших процессию от самой претории, пряча под плащом какой-то сосуд, видимо, приберегаемый для этой минуты.

Иисус не имел ни сил, ни желания вступать в разговор, он просто опустил глаза в знак благодарности — конечно же, его мучила жажда, и если какой-нибудь сердобольный человек спасет душу и подаст ему воды, он с удовольствием промочит горло.

Спрашивающий снял с пояса походную чашу, налил в нее какую-то жидкость и почтительно протянул узнику.

Иисус поднес чашу к губам, отпил из нее. Жидкость оказалась на редкость горькой, и он без укора протянул ее обратно хозяину.

— Что? Не понравилась? Горькая, да?

Налившись кровью от сотрясавшего его смеха, он принял из рук узника чашу и выплеснул ее содержимое — разбавленный желчью уксус — прямо ему в лицо.

Любители зрелищ, собравшиеся здесь со всех концов страны, радостно возопили и одобрительно похлопывая хозяина чаши по плечу, хвалили его за сообра-



зительность и проворство: ну, молодец, ну, додумался! Они смеялись над ослепленным жгучей жидкостью, зашедшимся в кашле Иисусом, как бы воздавая должный почет «венценосцу» и поздравляя с этим счастливым днем.

Они сорвали с него царскую порфиру, которую в насмешку над его кротостью нацепил на него Ирод, наградив при этом тумаками и пинками. Не в силах устоять на ногах, Иисус падал то в одну, то в другую сторону, но его каждый раз поддерживали и тумаком возвращали в вертикальное положение. Люди вокруг гоготали, покатывались со смеху, издеваясь над его беспомощностью.

Под конец палач решил прервать их забавы и вырвал узника из рук толпы. Симон Киринейский, между тем, еле дыша, вознес крест на гору. Палач снял обмотанную вокруг плеча веревку толщиной в запястье, потребовал у помощника гвозди и молот и, засучив рукава, с видом мастера своего дела, дал знак legionерам раздеть узника донага.

Легионеры только этого и ждали. Воткнув копья в землю, они приступили к выполнению приказа.

— Уложите его на крест, вот так! — сказал палач, показывая, как это надо сделать.

Иисусу не требовалась помощь легионеров. Он покорно, безропотно лег на крест и раскинул руки, как того требовал палач.

В толпе раздались редкие всхлипывания. Это оплакивали Иисуса те немногие, кто всем своим сердцем, всем своим разумом любил и верил в него, Христа, Сына Божьего, Спасителя, и понимал, что видит его живым в последний раз.

Однако никто не обратил на них внимания. Все сосредоточенно наблюдали за действиями палача.

Среди них было немало таких, кто верил в Христа, верил в его Божественное происхождение, его чудеса, но они были «маловерными», как иногда называл Иисус своих апостолов, они верили не до конца, постоянно сомневались, верили и в то же время не верили. Муки и распятие Христа были для них испытанием, но не самой веры, а того, в кого они верили и не верили одновременно.

Если бы Иисусу удалось спасти себя, с помощью



небесных сил одолеть своих заклятых врагов и выйти из этой истории целым и невредимым, они окончательно и без всяких колебаний уверовали бы в него как в Христа, но если бы ему не удалось это и он погиб от руки палача, как простой смертный, они взяли бы сторону тех, кто называл Назаретянина лжепророком, лжемессией и требовал его распятия.

Иисус видел все, дикое возбуждение алчущей крови толпы ранило его в самое сердце, и он, едва шевеля разбитыми пересохшими губами, шептал: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят».

Пока палач хлопотал над узником, молотом вгоняя в дерево сквозь его ладони и ступни огромные гвозди, между римскими воинами, раздевавшими Иисуса, возник спор из-за его заплатанной одежды. Спор этот грозил перерасти в потасовку, но под конец все разрешилось миром: одежда была честно поделена, а хитон, сшитый из куска сплошной ткани, рвать который на куски не имело никакого смысла, решили отдать тому, кому выпадет по жребию. Точно исполнилось реченное некогда в священных книгах: «Разделили ризы мои между собою, а об одежде моей бросали жребий».

Когда воины медленно поднимали крест, нижний конец его прочно устанавливая в специально вырытой яме, Иисус был в полном сознании. С удивительным терпением снося безмерные муки, он молил Отца Небесного быть милостивым к жестокосердной толпе.

Наконец крест был поднят и установлен. Один из легионеров приставил к нему лестницу и, взобравшись на нее, прибил к перекладине над головой Иисуса табличку, заготовленную по приказу Пилата, на которой на трех языках — латинском, греческом и арамейском было выведено: «Иисус Назаретянин, Царь Иудейский».

— Что там написано, люди? — раздались в толпе крики.

— Царь Иудейский?!

— Как же, как же! Царь-враль!

— Эй ты! Царь Иудейский! Будешь еще проповедовать о любви к врагам своим?! Скажи-ка на милость, только не ври по обычаю, а ты любишь своих врагов? Признайся принародно, здесь все твои враги! Не лучше ль было довольствоваться тебе отцовским ремеслом и жить покойной жизнью?!



Тем временем справа и слева от Иисуса водрузили два креста с распятыми злодеями. Толпа, посчитав, что самое интересное уже свершилось, стала потихоньку расходиться. Однако прежде чем уйти, каждый считал своим долгом приблизиться к распятому Спасителю, скорчить рожу, плюнуть в него, крикнуть что-нибудь обидное, ядовитое.

— Не ты ли грозился разрушить храм и в три дня возвести его?! Спаси себя, если ты в самом деле Сын Божий, чего ждешь, пора сойти с креста!

От невежественного люда не отставали и первосвященники, фарисеи и книжники, старейшины народа.

— Это он других спасать был горазд, а вот себя не может. Не может и все тут! — глумились они над Иисусом. — Если он в самом деле Царь Иудейский, пусть поскорее сойдет с креста, и мы уверуем в него! Не ночевать же нам здесь! До сих пор он подчинялся воле Божьей, ни шага без его благословения не делал. Пусть же сейчас Бог, чьим сыном он себя величает, пожалеет и снимет его с креста!

Толпа редела. В какой-то миг Иисус, вынырнув из тьмы беспамятства, приоткрыл глаза и увидел стоящих перед ним четырех женщин в черном с наполовину закрытыми лицами. Он узнал всех четырех.

— Сынок, Иисус! — простонала одна из них, и по телу его пробежала дрожь. Нежный материнский голос напомнил ему тот памятный день, когда двенадцатилетним отроком он отстал от своих и вернулся в иерусалимский храм, где его и нашли обезумевшая от страха Мария и Иосиф. — Почему вместо тебя меня не распяли на этом кресте? До какого же дня дал мне дожить Господь, да будет благословенна его милость!

Иисус прикрыл глаза, две горячие слезы скатились по его раскаленным щекам.

Потрясенная концом ненаглядного сына Мария, чтобы не привлечь к себе внимания сидевших неподалеку римских воинов, тихо причитала. Ей также тихо вторили три женщины — Саломея, жена Зеведея, Мария Клеопова, сестра Марии и избавленная Иисусом от нечистых духов Мария Магдалина.

Снова открыв глаза, Иисус увидел, что к четверем женщинам присоединился его любимый ученик Иоанн,



сын Зеведея. Собрав остаток сил, он разлепил слипшиеся губы и прохрипел:

— Мать, вот твой сын! Иоанн, вот мать твоя!

Услышав нечеловеческий голос Иисуса, Саломея и обе Марии пали ниц, а Мария, мать страдальца, обняла Иоанна, которого распятый ее сын оставлял вместо себя, и прижала его к груди.

Заметив что-то неладное у центрального креста, центурион послал копьеносца узнать, в чем там дело, и тот на ломаном арамейском напустился на скорбящих женщин:

— Кто вы такие? Что вы здесь делаете? Вы же видите, темнеет, и все разошлись. Идите и вы, ничего уже тут не случится!

Римские воины были предупреждены, что должны оставаться на месте, пока не придет смена, — вполне вероятно, что распятых попытаются похитить. Видя, что угрозы не действуют на женщин и они не собираются уходить, легионеры возвысили голос.

— Уйдете сами, или применить к вам силу? — грозно спросили они уже на своем родном языке.

Иоанн обнял Марию за плечи и несмотря на ее сопротивление — ей хотелось еще раз, напоследок погладить окровавленные, изуродованные огромными гвоздями ноги сына — увлек ее за собой. В десяти шагах от креста они остановились, к ним присоединились обе Марии, Саломея и другие женщины, искренне оплакавшие еще живого Иисуса.

Распятые слева и справа от Иисуса злодеи громко проклинали Кайафу и непристойно ругались.

— Если ты в самом деле Христос, — обратился вдруг один из них к Иисусу, — спаси себя и нас заодно!

— Стыдись! — остановил его второй, как видно отличавшийся от своего сообщника определенной богобоязненностью, — не все, что мне плетешь, можно ляпать другому. Или ты Бога не боишься, когда и сам осужден на то же? Ну, нам так и надо! Мы-то с тобой заслужили эту кару, а его за что, ведь он ничего плохого в своей жизни не сделал?! — Тут он повернул голову к Иисусу и сказал: — Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Царство свое!

— Истинно говорю тебе, — с трудом шевеля за-



пекшимися губами, прохрипел Иисус, — сегодня же будешь со мной в раю.

Было около шести, когда заходящее солнце накрыло пушистое облако. Иисус к тому времени уже несколько минут был без сознания. Римские воины, расположившиеся вокруг его креста, — кто сидел, кто лежал, — курили опиум и оскорбительными для самого уха словами ругали стоявших в отдалении еврейских женщин, которых они недавно с трудом отогнали от распятого Назаретянина.

Иисус неожиданно приоткрыл глаза, и тут у него невольно вырвалось:

— Жажду!

— Он просит воды! — засуетились римляне. — Оказывается, он спал, а мы-то думали, отдал душу посланному его Богу. Дайте ему попить, пусть промочит горло.

Двое вскочили, один наполнил глиняную чашу уксусом, другой опустил в нее губку и, подождав, пока она пропитается уксусом, прикрепил ее к палке и поднес к губам страдальца. Сверху слышалось учащенное дыхание и слабое покашливание, которое почему-то развеселило одурманенных опиумом римлян.

— Нет, брат, никакой ты не сын Божий! — крикнул ему один из них. — Будь ты в самом деле Христом и имей отца на небе, ты запросто превратил бы этот уксус в холодную воду. Ведь твои приспешники утверждали, что как-то на свадьбе ты претворил воду в вино!

Иисус вскоре затих. Ни звука не доносилось и с соседних крестов. Тем временем солнце село, окрестности утонули в сумерках, а к девяти часам их поглотила тьма. Один из легионеров поднялся и подошел к Иисусу. Что-то подсказывало ему, что страдалец испустил дух.

Распятый был недвижим, не подавал никаких признаков жизни.

«Умер, бедняга, отмучился», — подумал римлянин и пошел было назад, собираясь оповестить о случившемся своих сотоварищей, как вдруг Иисус неожиданно возопил громким голосом:

— Элои, элои, лама савахфани!

Римлянин содрогнулся: уж не сошел ли тот с кре-



ста и не идет за ним! Отбросив копье в сторону, он бросился бежать без оглядки.

— Что? Что он говорит? — очнувшись от своих видений, ни к кому конкретно не обращаясь, спросил центурион.

— Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?

— Илию зовет!

— А что, он придет?

— А мы здесь для чего?! — обескураженный центурион пытался ободрить своих товарищей, хотя испытывал непонятный страх и готов был бежать куда глаза глядят. — Посмотрим, придет ли Илия спасти его!

Римляне затаив дыхание прижались друг к другу и превратились в слух. Но ничего не слышали, кроме учащенного биения собственных сердец. Прошедшая минута показалась им вечностью.

Внезапно Иисус снова крикнул что-то, крикнул так громко, что окрестности сотряслись, и никто не смог разобрать его слов. И в тот же миг, уронив голову на грудь, испустил дух.

Центурион трясся от страха, не смели дохнуть и его подчиненные, прятаясь друг за друга. Прошло несколько минут, прежде чем центурион обрел дар речи.

— Истинно, человек сей был Сын Божий!

## ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ


В сумерки в пятницу, в канун священной субботы, когда сынам израилевым строго воспрещается любое деяние, к претории подошел богато одетый иудей и потребовал встречи с прокуратором Пилатом.

Стражник в воротах хотел было отказать ему, сославшись на позднее время, но было что-то такое в облике и выражении лица иудея, что заставило его открыть тяжелые кованые медью двери и впустить гостя вовнутрь.

Гость этот был Иосиф Аримафейский, член синедриона, который втайне от всех веровал в Христа и даже имел с ним несколько встреч. Он не принял никакого участия в позорном судилище и наказании Иисуса, а сделать что-нибудь для его спасения не сумел.

Пилат был не в духе. Он сидел в одиночестве в





маленькой душевной комнате, где на стенах висело его личное оружие, приказав не беспокоить его. Разгневанная жена не простила ему малодушия, проявленного под нажимом иудейских первосвященников и алчущей крови черни, не простила того, что он пренебрег ее советом, и велела ему передать, чтобы он не показывался ей на глаза. Она уже возбудила дело о расторжении брачного договора и, не дожидаясь решения, завтра на рассвете отбывает в Рим.

С любимой женой, которая прожила с ним в согласии долгие годы, Пилат терял многое другое. Тесть его был влиятельным в Риме человеком, почти ежедневно виделся с цезарем, и ему ничего не стоило настроить того против своего зятя, который так непочтительно обошелся с его дочерью, уехавшей с ним на край земли.

— Кто там? — спросил Пилат у стражника и с трудом поднял тяжелую крупную голову.

— Какой-то богатый иудей просит встречи.

— Не может подождать до утра?

— Завтра суббота, праздник у них.

Пилат грязно выругался, давая выход душившей его злобе.

— Пусть войдет! А ты стой за дверью, от этих воючек всего можно ждать.

Но когда гость вошел в комнату и чуть склонил голову в почтительном поклоне, Пилат поднялся ему навстречу, что он делал весьма редко, и дружески, насколько позволяло душевное состояние, приветствовал его. Он узнал Иосифа Аримафейского.

— Я к тебе с просьбой, — с благоговением, в котором звучали молящие нотки, произнес гость, отводя глаза от предложенного ему кресла.

— Говори, Иосиф, что ты можешь попросить, чего бы я не выполнил.

— Позволь мне снять с креста усопшего.

— Ты это о ком?

— Об Иисусе, Назаретянине.

— А-а, это тот, кто утверждал, что он царь Иудейский?

Аримафеянин пропустил слова прокуратора мимо ушей.

— Я об Иисусе, Назаретянине, — повторил он.



Пилат прищурил маленькие глазки — понял, что иудею не понравилось сквозившее в его словах пренебрежительное отношение к распятому Мессии и, чтобы скрыть мгновенное замешательство, спросил:

— Он уже умер? Ты оттуда идешь? Иные подлецы дотягивают до утра, а бывает, говорят, и до вечера следующего дня. А он такой хлипкий оказался?! Надо быть осторожным, Иосиф! Как бы этот чертов пророк жив не оказался и кто-нибудь не дал бы ему бежать! Мало у него сторонников и пособников! Ты же знаешь, потом мы с тобой будем во всем виноваты! Первосвященники настучат на нас в сенат!

Аримафянин проглотил еще одно оскорбление в адрес покойного, как будто не расслышал его, и, боясь испортить дело, решил не возражать всесильному прокуратору.

— Не бойся, прокуратор, — мягко произнес он. — Я буду предельно осторожен. Но время не терпит. Наступает суббота. Если до захода солнца не управиться с этим делом, вера не позволит мне довершить его.

— Снимай и хорони, как велит тебе твоя вера, я не против и мешать не буду, но с одним условием — если он мертв, если же есть сомнения, надо перебить ему голени.


Иосиф Аримафейский, к которому присоединился и мучимый угрызениями совести Никодим в сопровождении слуг, вооруженных ломами и молотами, быстро направились к Голгофе, чтобы до наступления субботы с соблюдением всех обрядов совершить погребение.

Народу на Голгофе было еще достаточно. Несколько факелов бледно освещали окрестности. Женщины в черном, пришедшие с Иисусом из Галилеи и служившие ему, стояли небольшой группой в отдалении, молча наблюдая за хлопотами римских легионеров.

Вскоре выяснилось, что тут творилось: первосвященники и старейшины решили, в свою очередь, немедленно снять распятых с крестов, дабы не осквернить священной субботы.

Иосиф Аримафейский нашел начальника легионеров и передал ему письменное распоряжение прокуратора. Пока центурион при свете факела знакомился с его содержанием, одному из злодеев молотом перебили





голени. Тот зашелся в немом крике и в следующий же миг кончился. Его стали стаскивать с креста.

— Негодяи! Разбойники! Костоломы! Вас ждут худшие дни! — из последних сил вопил второй распятый, тот самый, которому Иисус обещал рай, и в тщетной попытке избежать судьбы товарища мотал головой, хотя каждое движение причиняло ему нестерпимые муки.

Только Иисус был недвижим, его избитое, в синяках и ссадинах тело всей тяжестью повисло на пригвожденных руках.

Римляне знали, что он мертв, — он испустил дух на их глазах, чем немало напугал их, поэтому не было необходимости разбивать ему голени, но один из легионеров на всякий случай пронзил ему бок копьем.

Тотчас истекли кровь и вода.

И все вокруг замерли, пораженные увиденным. Так исполнилось сказанное в Писании: «Кости его не сокрушались».

Центурион, еще не пришедший в себя от ужаса, испытанного им с последним возгласом Иисуса, отошел в сторону, давая возможность Иосифу Аримафейскому и сопровождающим его снять распятого с креста и распорядиться им по своему усмотрению.

Никодим расстелил на земле кусок специально принесенного полотна, затем приставил к кресту лестницу и в мгновение ока очутился на его перекладине.

Увидев это, к распятому поспешили стоявшие в отдалении женщины в черном. На этот раз никто не остановил их.


— Иисус, сынок! — простонала Мария, прижимая к груди окоченевшие, окровавленные ноги своего первенца, как бы пытаясь согреть их. Женщины заголосили, запричитали.

Однако надо было спешить, до наступления священной субботы оставались считанные часы.

Тут же омыли тело, умастили благовониями, обернули полосами льняной ткани, пропитанной смесью мирро и алоэ, подняли и унесли во мрак.

Онемевшая от горя Мария почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и в следующий миг лишилась чувств. Иоанн поддержал Богоматерь, не дал ей упасть.





— Пойдем, мать, здесь нам не место, — шепнул он ей сочувственно и осторожно повел вниз, в город.

За процессией во главе с аримафеянином последовали три женщины: Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, и Саломея.

Шли довольно долго, с трудом разбирая в сгущающихся сумерках дорогу. Пересекли пустынный пригорок и спустились в низину, покрытую виноградниками и фруктовыми садами. Где-то здесь, в скале, была пустая гробница, которую заранее присмотрел Иосиф Аримафейский, и процессия направлялась прямо к ней.

В это время из-за облаков вынырнула ущербленная луна, осветив окрестности бледным светом.

Женщины, неслышно следовавшие за процессией, ничем не выдавали своего присутствия, ибо поняли, мужчины почему-то хотели сохранить в тайне место погребения Христа.

Наконец женщины остановились и издали стали наблюдать, как процессия подошла к скальной гробнице, из которой, если их не обманывали глаза, исходил свет. Там, внутри, как видно, зажгли светильник или факел. Мужчины внесли тело в гробницу и очень скоро вышли из нее. Затем подкатили огромный валун, валявшийся тут же поблизости, и закрыли им вход в гробницу.

Женщины заметили место погребения, чтобы на следующий день после субботы прийти сюда и довершить умащение измученного тела Спасителя, и исполненные горя и отчаяния, поспешили вниз, в город, чтобы до наступления субботы успеть возвратиться домой.

## ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Место погребения Иисуса Христа стало известно первосвященникам в ту же ночь, но до этого в храме произошло знаменательное событие, весьма омрачившее их радость от сознания достигнутой победы.

В храме появился неизвестный, прячущий лицо под покрывалом, и потребовал встречи с первосвященником Кайафой. Кайафа в это время в полном уединении возносил вечернюю молитву Богу и никого не желал видеть. Когда ему сообщили, что пришелец прячет лицо и угрожает оружием, если его не отведут к перво-





священнику, сердце у Кайафы дрогнуло, и он чуть не выскользнул из храма через потайной выход, но устыдился собственного малодушия, велел позвать незнакомца.

Как только Кайафа и незванный гость остались наедине, тот убрал покрывало с лица.

— Иуда?! — вырвалось у изумленного Кайафы. — Это ты?!

— Да, я... — лицо гостя исказила брезгливая усмешка.

— Чего тебе надо? Почему ты так поздно явился? За обещанным?

— Нет, я возвращаю то, что ты мне дал... — не отрывая взгляда от ошеломленного первосвященника, он достал из широкого пояса туго набитый кошель. — Вот твои тридцать серебряников!

— Ну и что?! Возьми, и пусть Бог поможет тебе потратить их с пользой!

— Не поможет!

— Почему же?

— Потому что грешен я.

— Какой же грех на тебе?

— Страшнее не бывает! Я предал своего учителя и благодетеля, обрек его на муки и распятие. Жадность и честолюбие одолели меня. Вот, на что променял я Сына Божьего, Царя Иудейского!

Глаза у Кайафы недобро сверкнули.

— Опомнись, Иуда, не богохульствуй! И для тебя найдется крест.

— Чему суждено было случиться, случилось, меня вам уже не распять! Я принес назад эти презренные деньги, которыми вы подкупили меня и ввергли в неискупимый грех. Будьте прокляты все вы, кто ввел меня в искушение! Пусть эта Пасха будет последней в вашей жизни! Пусть Господь Бог даст вам то, что уготовили вы другому!

С этими словами Иуда швырнул об пол кошель так, что он лопнул, и серебряные динарии со звоном покатались в разные стороны.

На шум вбежала стоявшая у дверей храмовая стража, готовая ценой своей жизни защитить драгоценную жизнь первосвященника, но, к счастью, ему ничто не угрожало. Закрыв покрывалом лицо, Иуда обошел сто-





роной верных служак Кайафы и решительным шагом вышел вон.

Потрясенный неожиданным визитом Иуды и его странным поведением, Кайафа застыл на месте, забыв про динарии и лопнувший кошель. До рассвета он не вышел из своего покоя. Из дому посылали за ним, напоминали, что дворец полон гостей, просили не опаздывать. Но первосвященник никого не допустил до себя и продолжал молиться.

Рано утром в храме собрались первосвященники и старейшины. Именно они принесли весть о том, что Иуда прошлой ночью повесился. Час назад его видели висящим на дереве в винограднике, который он собирался купить и за который уже уплатил хозяину задаток.

Была великая суббота, но Кайафа все же вознамерился немедленно в сопровождении нескольких первосвященников отправиться к прокуратору Понтию Пилату. Он никогда бы не решился на такое, никогда не посмел бы осквернить священную субботу, но иного выхода не видел.

Пилат был поражен, узнав, что в субботний день к нему пожаловала делегация первосвященников. Не утрудив себя переодеванием, он вышел в колоннаду, где ждали его, в банном покрывале и деревянной обуви.

— Господин, — без всякого вступления, но после обязательного ритуала приветствия, начал Кайафа, — мы вспомнили, что тот обманщик, еще будучи живым, сказал: «после трех дней воскресну»...

Пилат слушал его, сложив на груди волосатые крепкие руки. Брови его сдвинулись, а маленькие глазки зловеще сузились.

— Вы опять об этом царе Иудейском? Я же утвердил ваш приговор? — глухим голосом проговорил Пилат. — Вы его распяли. Чего же еще хотите? В конце концов, должен быть этому конец или нет?!

Прокуратор готов был взорваться от гнева, но Кайафа не дрогнул.

— Ты дал согласие на его погребение, — вкрадчиво произнес он.

— Мне кажется, это не противоречит вашим обычаям! Не отравлять же город падалью!

— Тогда прикажи охранять гроб до третьего дня.





— Для чего? Или мертвый встанет и убежит?

— В том-то и дело, прокуратор! Придут ученики его, украдут труп, а потом пустят по городу слух, что он воскрес из мертвых, как и обещал, воскрес на третий день и вознесся на небо для встречи с Отцом. И будет последний обман хуже первого!

Пилат на мгновение задумался, счел для себя слишком обременительным вновь вмешиваться в мудреные дела иудеев и опять умыл руки.

— От меня чего требуете? Имеете стражу, пойдите и охраняйте, как знаете!

Первосвященники покинули преторию в некотором замешательстве. Поскольку Пилат не выпроводил их с отказом, они наняли стражу из греков-язычников, заплатив им немалые деньги, с проводником отправили их к гробнице Иисуса, сказав, что в воскресенье утром их сменят, а до того они не должны отлучаться оттуда. По их велению греки опечатали вход в гробницу и там же устроились сами для выполнения взятых на себя обязательств, не скрывая друг от друга недоумения — зачем гробнице стража и до каких пор ее потребуется охранять.

## ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

В воскресенье на рассвете Мария Магдалина, другая Мария, сестра Богородицы, Саломея и остальные женщины, следовавшие за Христом из родной Галилеи и не оставившие его до последней минуты, с трудом отыскали отмеченное место, где в пятницу вечером погребли бездыханное тело Учителя. С собой они принесли благовония, которыми собирались умастить его.

Женщины уже знали, что в субботу утром первосвященники во главе с Кайафой выставили у гробницы стражу из греков-язычников, которых в воскресенье утром должен был сменить иудейский караул. Женщины опасались, что их не подпустят к гробнице, и они вынуждены будут уйти не солоно хлебавши. Но, к их изумлению, возле гробницы никого не оказалось.

Утренние сумерки еще не рассеялись, и женщины боялись, не заблудились ли они в темноте. Каково же было их удивление, когда, подойдя к гробнице, они увидели, что огромный валун, прикрывавший вход, отодви-



нут в сторону. Женщины едва сдержали крик ужаса. Кто мог сдвинуть с места этот камень, который в пятницу вечером несколько крепких мужчин с трудом подкатали к гробнице?

Порядком напуганные женщины не посмели заглянуть в гробницу и решили спуститься в город, чтобы сообщить о случившемся апостолам. Времени на раздумывание не было. Но Мария Магдалина сумела преодолеть свой страх. Она зажгла светильник, перекрестилась и вошла в гробницу. За ней последовали остальные. Тут их ждало новое потрясение: гробница была пуста! В глубине, на возвышенном месте, где, очевидно, покоился усопший, валялись полосы льняной ткани. Там же лежал и погребальный покров, а самого тела нигде не было. То ли земля его поглотила, то ли небо, никому не известно!

— Скорей, к Симону-Петру! — в отчаянии вскричала Мария Магдалина и, всучив кому-то светильник, выскочила вон.

Апостолы, ушедшие в кусты от карающей руки синедриона, дрожащие при мысли, что их может постигнуть судьба распятого Учителя, жили в наемных комнатах и не выходили на улицу, боясь, что их опознают и донесут Кайафе.

Марии было известно, где жили Симон-Петр и Никодим, и она направилась прямо к ним. Как и ожидалось, оба оказались дома, но долго не отпирали дверь, и только убедившись, что им ничто не грозит, впустили Марию.

— В чем дело, Мария? Что привело тебя в такую рань? — в один голос спросили апостолы, снова запирая дверь на засов.

— Вы, конечно, ничего не знаете, — Мария задыхалась от волнения, лицо ее посерело, высокая грудь трепетала.

— Что еще случилось? Небеса обрушились?

— Учителя нет в гробнице, вчера ночью кто-то похитил тело.

— Похитил тело?! — Симон-Петр схватился за голову. — Откуда ты знаешь?

— Я оттуда иду.

— Ты была одна?

— Нет, с женщинами.





— С какими женщинами?

— Галилеянками.

— Откуда ты знаешь дорогу к гробнице? — воспользовавшись замешательством Симона-Петра, вступил в разговор Никодим.

— Мы втроем следили, как в ту проклятую ночь погребали Учителя.

Эти слова единственно свидетельствовали, что Мария Магдалина в своем уме и говорит что-то похожее на правду.

— Надо идти, — обернулся Никодим к Симону-Петру, — и позвать на помощь других.

— Сперва пойдём мы, — Симон-Петр все еще сомневался, то ли это ловушка, то ли все померещилось Марии, — удостоверимся сами.

Никодим первый выскочил на улицу, за ним — Симон-Петр с Марией. В дороге они встретили отставших от Марии галилеянок. Женщины спешили в город, чтобы сообщить новости близким. Они видели греков, стороживших усопшего, и те поведали им еще об одном чуде. В полночь случилось сильное землетрясение, небеса разверзлись и оттуда спустился Ангел Господен. Он откатил камень, закрывавший вход в гробницу, и сел на него. Вокруг него было сияние, молнии подобное, и одежда его была бела, как снег. Греки, естественно, разбежались кто куда, и что было дальше не знают, не ведают.

Никодим, Симон-Петр и Мария бегом побежали дальше. Никодим опередил Петра и первым прибежал к гробнице. Заглянув туда, он увидел полосы льняной ткани и погребальный покров. Никодим испугался и не посмел войти внутрь один.

Тем временем подбежал запыхавшийся Симон-Петр. Не раздумывая, Симон сразу же вошел в гробницу, Никодим — за ним. В глубине также валялись льняные полосы. Покров лежал не вместе с ними, а в стороне от них, аккуратно свернутый.

Никодим сразу заметил это и поразился: кто мог так старательно сложить покров? Разве злодеи — похитители трупа стали бы заниматься этим? Но тут он вспомнил о галилеянках, которые вполне могли бы позаботиться о покрове.

Ничего другого в гробнице апостолы не обнаружи-



ли и решили, не теряя времени даром, поспешить в город, чтобы сообщить новость укрывавшимся в разных районах Иерусалима своим товарищам, а потом вместе решить, что делать. Они так торопились, что даже не заметили Марию Магдалину. Она стояла возле гробницы и, прикрыв лицо черным платком, обливалась горячими слезами.

Оставшись одна, Мария снова заглянула в гробницу, где распятый Господь пролежал две ночи. Ей было дорого и желанно все, что имело отношение к нему, — ведь она так верила в него. Вдруг она застыла на месте — яркий свет, лучившийся из гробницы, ослепил ее. Мгновение спустя она увидела двух прекрасных юношей-ангелов, облаченных в белое, один из них сидел в головах, другой — в ногах у того места, где раньше лежало тело Иисуса.

— О, женщина, почему ты плачешь, — мягко обратился к Марии тот, что сидел ближе к ней, — от лица его и одежды исходило неземное сияние.

Мария собрала всю свою волю.

— Злые люди, — дрожащим голосом проговорила она, — забрали отсюда моего Господа, и я, несчастная, не знаю, где его спрятали, чтобы прийти к нему и слезами оросить его священную могилу.

Сказав это, Мария почувствовала, что сзади кто-то стоит и пристально смотрит на нее. Обернувшись, она увидела Иисуса, но не поняла, что это он.

— О, женщина, почему ты плачешь, — тихо спросил Иисус, — кого ты ищешь?

Думая, что это садовник, она с мольбой обратилась к нему:

— Господин, если ты забрал его отсюда, скажи, Бога ради, куда ты положил его, и я пойду и заберу его оттуда и никому об этом не скажу.

Тогда Иисус сказал ей:


— Мария!

Мария вздрогнула, в глазах ее появился дивный свет — она поняла, кто разговаривал с нею, кого она не узнала.

— Равви! — вырвалось у нее из глубины души, и она протянула вперед руки, чтобы прижать к сердцу Спасителя.

Но Иисус отступил на шаг.





— Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему. Пойди лучше к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему.

Не успела Мария опомниться, как Спаситель исчез, и гробница вновь погрузилась во мрак. Что ей делать? Где искать разбежавшихся по городу апостолов, как сообщить им о воскресении из мертвых Учителя и его поручении?!

Мария стрелой понеслась к дому, где снимали комнату Симон-Петр и Никодим. К счастью, почти все апостолы оказались там, за исключением Фомы и Иуды Искарюта, предавшего Учителя и в ночь его распятия покончившего с собой. С помощью Никодима и верных его друзей их собрал здесь Симон-Петр, чтобы сообщить потрясающее известие о похищении тела Иисуса.

Мрачные апостолы, все эти дни проведенные в страхе и неведении, сидели в полном молчании, как бы ожидая, кто из них первым нарушит эту навалившуюся мучительную тишину. В это время раздался громкий стук в дверь и голос Марии:

— Никодим, открой!

Все проводили взглядом Никодима, который пошел открывать двери.

— Радуйтесь, братья! — воскликнула Мария, снимая косынку и тыльной стороной ладони убирая волосы с намокшего лба. — Исполнилось реченное: он восстал из мертвых!

Хотя Спаситель незадолго перед смертью неоднократно говорил, что его ждет мученическая смерть от рук первосвященников и фарисеев, но на третий день он восстанет из мертвых, слова Марии как громом поразили их.

— Вы не поняли, что я сказала? Никто не похищал тела Христа, он восстал из мертвых!

Никто не разделял радости и восторга Марии. Апостолы, угрюмые, молчаливые, прятали друг от друга глаза.

Вечером того же дня Иисус сам явился им.

— Мир вам, — сказал он, встав среди них.

Ученики повскакали было с мест, но тут же преклонили колени перед распятым на их глазах Учите-



лем и, словно лишившись дара речи, молча взирали на него.

— Мир вам, — повторил Иисус. — Вы не верите, что это я?

Конечно же, они не верили. Невозможно было в это поверить, но они не смели сказать об этом вслух.

— Взгляните на эти раны, — сказал Иисус, показывая им следы гвоздей на руках и пронзенный копьем бок.

Апостолы стали приходить в себя. Постепенно они убедились, что перед ними действительно восставший из мертвых Иисус. Радости их не было предела.

— Как послал меня Отец, так и я посылаю вас! — сказал Иисус и, дунув на них, добавил: — Примите же Дух Святой. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся.

Апостол Фома позднее узнал, что товарищи искали его днем с огнем, но, когда он пришел к ним, Иисуса уже не было с ними. Ему сказали, что исполнилось реченное, он восстал из мертвых и явился им.

— Пока я сам не увижу следы от гвоздей на его руках, — ответил Фома, — и пока не вложу свои пальцы в эти отметины и в рану на боку, я не поверю!

В тот же день двое из последователей Спасителя, которых у него было великое множество, шли в селение Еммаус, находящееся в шестидесяти стадиях от Иерусалима. Увлеченные беседой, они не заметили, как к ним присоединился незнакомый путник. Это был воскресший из мертвых Иисус, но последователи никогда его не видели и потому не узнали.

— О чем беседуете, отчего вы так печальны? — спросил их Иисус.

— А чему радоваться, — отвечал один из них по имени Клеопа.

— В чем дело?

— Должно быть, ты единственный в Иерусалиме не знаешь, что произошло на этих днях. Ты что, иностранец?

— Нет, разве иностранцы говорят по-арамейски?

— Как же ты не знаешь, что произошло в прошедшую пятницу?

— Что же произошло?

— А то, что Иисуса Назаретянина, который был





великим пророком на словах и на деле в глазах Бога и всего народа, наши первосвященники и правители осудили на смерть и распяли. Мы-то, несчастные, верили, что он Мессия, который спасет Израиль, но его убили, а вместе с ним и нашу надежду. Вот уже три дня, как это случилось, а сегодня, когда мы выходили из Иерусалима, нам рассказали, что рано поутру три женщины пошли к гробнице, где было погребено тело Учителя, но вместо тела, как они говорят, они увидели двух ангелов. Ангелы якобы сказали им, почему вы скорбите, самое время ликовать и радоваться, ибо жив Назаретянин, восстал из мертвых и вознесся на небо. Кое-кто из наших пошел к гробнице, чтобы самим убедиться в этом, и нашли все так, как рассказывали женщины, но никто не видел его, ни мертвого, ни живого.

— А вы не пошли?

— У нас в Еммаусе спешное дело. И потом, если это правда, что нам сказывали, что с того, пошли мы или не пошли.

— О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! А ведь вы считаете себя последователями и учениками Христа?! Не так ли надлежало пострадать ему и так войти в славу свою?! Разве не он разъяснял вам сказанное о нем в Писании, начиная от Моисея и кончая последним пророком?


Тем временем путники приблизились к селению, в которое шли. Иисус сделал вид, что держит путь дальше. Путники стали упрашивать его остаться с ними, день уже клонится к вечеру, говорили они, а ночью на дорогах беспокойно, можно стать жертвой грабителей или разбойников. Они были так искренни в своих уговорах, что Иисус согласился и пошел с ними. Когда они вошли в дом и возлегли у стола, Иисус взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда глаза их открылись, и они поняли, кто был их гостем, но в тот же миг, как они поняли это, Спаситель исчез. Ложе его еще хранило тепло его тела.

Хозяева от страха проглотили языки. Наконец Клеопа, придя в себя, обрел дар речи.

— Разве не горели наши сердца, когда он говорил с нами в пути и объяснял нам Писание?

Остаться дома они уже не могли. Они встали и





пошли обратно в Иерусалим. Нашли собравшихся вместе одиннадцать апостолов. С ними было еще много людей. Все уверенно говорили, что Иисус истинно воскрес.

Пришедшие рассказали, что случилось с ними в дороге и как они узнали Христа, когда он преломил хлеб.

На восьмой день апостолы снова собрались вместе в том же доме, в котором он впервые явился им и приобщил к Духу Святому. Вместе с другими был здесь и Фома, все это время с сомнением относящийся к рассказам о воскресении Иисуса.

И тут, хотя двери были заперты, Иисус снова стал среди своих учеников.

— Мир вам! — сказал он, а потом повернулся к Фоме. — Вложи свой палец, Фома, и посмотри на мои руки. Протяни руку и вложи ее в рану у меня на боку. Перестань сомневаться и уверуй!

Фома убедился, что перед ним распятый Иисус. Глубокое раскаяние отразилось в его глазах.

— Господь мой и Бог мой! — выдохнул Фома.

— Ты поверил, потому что увидел меня, — улыбнулся Иисус, — блаженны не видевшие и уверовавшие.


## ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

В воскресенье до рассвета стражники, стоявшие у гробницы Иисуса, явились во дворец Кайафы. Они подробно рассказали только что поднявшемуся с постели первосвященнику об всем, что случилось. Кайафа распалился злобой и велел бросить греков, получивших вознаграждение, но не выполнивших условий сделки, в темницу. Возможно, он не проявил бы подобной жестокости, столь не подобающей духовному лицу, если бы не опасение, что болтливые греки разнесут по всему городу эту историю, неизвестно бывшую на самом деле или придуманную ими.

Кайафа собрал первосвященников и старейшин. Пожаловал и тесть Кайафы первосвященник Анна. Стали думать, как быть, что предпринять, чтобы история о воскрешении Иисуса не получила огласки. Это могло повлечь за собой взрыв народного возмущения.

Под конец сошлись на том, что держать не оправ-





давших надежд стражников в темнице неразумно, это только еще больше озлобит их и вызовет ненависть к иудеям. Решено было выпустить греков и, щедро одарив, взять с них клятву, что они будут помалкивать и не распускать ненужных сплетен.

Подозрительный Кайафа решил лично переговорить с греками, никому не доверив это важное дело.

— Распустите слух, что вы заснули, — наставлял он их, — а когда спали, приблизительно около полуночи, пришли его ученики и выкрали труп. Не бойтесь, что этот слух достигнет ушей Пилата, мы убедим прокуратора в его правдивости и сделаем все, чтобы вы не понесли наказания.

Греки беззастенчиво приняли деньги и, выйдя в город, принялись распускать лживые слухи. Люди слушали их и пожимали плечами. Не знали, кому верить.

Самую большую опасность для иудейской веры представляли именно апостолы Иисуса.

Было дано распоряжение перекрыть все дороги, чтобы без разрешения властей никто не мог покинуть город. Но распоряжение запоздало — Симон-Петр предвидел эту ситуацию и вместе со своими товарищами заблаговременно ушел из города. После этого Иисус еще раз явился к своим ученикам. Это случилось на берегу Тиверийского, того же Галилейского моря, где апостолы, большинство из которых были рыбаки, собрались, чтобы порыбачить. Симон-Петр решил вернуться к старому промыслу, который столько лет кормил его и его семью, и товарищи последовали за ним.

На берегу, кроме Симона, находились братья Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, Фома, Нафанаил из Каны, и еще двое учеников, примкнувших к Христовым апостолам позднее.

В ту ночь они ничего не поймали. На рассвете, когда в темном небе стали гаснуть звезды, они увидели на берегу Иисуса, но поскольку были далеко от берега, не узнали его.

Но вот лодка стала приближаться к берегу, и тут Иисус сам заговорил с ними:

— Дети, есть ли у вас какая пища?

— Нет! — угрюмо отвечали они, и их можно было понять, — они вышли в море с заходом солнца и всю ночь трудились понапрасну.



— Закиньте сеть по правую сторону лодки, может, поймаете что-нибудь на счастье.

Они забросили сеть и уже не могли вытащить ее, так много было в ней рыбы.

Тогда любимый ученик Иисуса, Иоанн, сын Зеведея, воскликнул:

— Это Господь!

Услышав это, Симон обвязал вокруг пояса свою верхнюю одежду, ибо был наг, и бросился в воду. Остальные же ученики добрались до берега в лодке, волоча за ней сеть, полную рыбы.

Только они ступили на прибрежный песок, как Иоанн вскрикнул:

— Смотрите, кто-то разложил костер!

И действительно неподалеку горел костер, а на чистой белой ткани лежала жареная рыба и хлеб.

Иисус, с любовью наблюдавший, с какой ловкостью и сноровкой действовали его ученики, крикнул им:

— Принесите немного рыбы из той, что вы только что поймали! Вы здорово проголодались за ночь, и этой рыбы вам не хватит!

Симон-Петр, который уже успел выбраться на берег и одеться, забрался в лодку, вытащил на берег сеть, вынул из нее несколько крупных трепещущих рыбин и принес Иисусу.

Теперь, увидев незнакомца вблизи, апостолы засомневались, а Иисус ли это — ну ничем тот не походил на Учителя. Скорее всего, подумали они, это бывалый рыбак, только вот почему они раньше никогда его не встречали...

— Идите и ешьте, — опускаясь на землю, сказал Иисус, приглашая апостолов к импровизированному застолью. — Чего ждете, рыба остывает.

Почти у каждого готово было сорваться с языка: «Кто ты?» Но никто не посмел спросить его об этом, ибо что-то подсказывало каждому, что перед ним Господь.

Иисус взял хлеб, благословил, преломил и вместе с кусками рыбы раздал ученикам. Точно так он действовал и тогда в пустыне, когда пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять тысяч человек и еще двенадцать полных корзин осталось.



По воскресении из мертвых Иисус уже в третий раз являлся своим ученикам.

Когда трапеза закончилась и никто уже не сомневался, что сидит рядом с Учителем, Иисус поднял глаза на Симона-Петра и спросил его:

— Симон, сын Ионин, положи руку на сердце, скажи: любишь ли ты меня больше, нежели они, — и он глазами указал на окружающих.

— Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя! — не колеблясь, ответил Симон.

— Так паси агнцев моих!

Воцарилась мертвая тишина, слышен был лишь плеск волн Тиверийского озера. Оно, казалось, дышало, как живое существо, и с каждым его выдохом к берегу устремлялись белеющие барашками волны.

Никто не смел нарушить эту тишину. Наконец снова раздался голос Иисуса:

— Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня?

У Симона перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы. Он вспомнил, как трижды отрекся от Учителя прежде, чем прокричал петух! И этот костер напомнил ему тот, что горел во дворе первосвященника, окрашивая все вокруг в цвет крови. Он глубоко вздохнул и дрожащим голосом ответил тому, кто ждал от него прямого и честного ответа:

— Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя.

— Паси овец моих.

Но когда Иисус в третий раз обратился к нему с тем же вопросом, Симон содрогнулся, уж лучше бы земля разверзлась под ним и поглотила его, чем слышать — в который раз! — эти слова: — Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня?

— Господи, ты все знаешь! Ты знаешь, что я люблю тебя! — воскликнул Симон, глубоко опечаленный, и в голосе его невольно прозвучал упрек.

— Паси овец моих, — вновь отвечал Иисус.

Простил ли он ему его малодушие? Неужели и в четвертый раз спросит все то же? Однако Иисус безмолвствовал, и в сердце Симона закралась надежда, что Господь смилостивился над ним.

— Истинно говорю тебе, — вновь обращаясь к Симону, нарушил молчание Иисус, — когда ты был молод, то подпоясывался и шел, куда хотел. Когда же



состаришься ты, то протянешь руки, и кто-то другой подпояшет тебя и поведет туда, куда ты вовсе не хочешь.

Этим он хотел сказать, что Петр своей смертью принесет славу Богу.

— Следуй за мной, — сказал Иисус Петру.

Симон-Петр почувствовал, как ком подкатил к горлу и слезы затуманили глаза. Он повернулся и увидел, что за Христом идет его любимый ученик, который на тайной вечере склонился к нему и спросил: — Господи, кто же это? Не я ли?

Симон-Петр догнал Иисуса.

— Господи, а он что? — спросил его Симон-Петр,

— Если я хочу, чтобы он пребыл, пока не прииду, что тебе до того? Ты иди за мною, — отвечал Христос.

Как следовало понимать его слова? Неужели так, как поняли апостолы, что Иоанн никогда не умрет? Слух об этом впоследствии распространился по всей земле Израильской. Нет, Иисус совсем не то имел в виду. Он хотел сказать: если Иоанн до второго моего пришествия, которого ждать недолго, будет жить, что ты, идущий по моим следам, можешь иметь против?

И прежде чем окончательно скрыться из глаз и вознестись на небо, Иисус еще раз обратился к своим ученикам:

— Идите по всему миру и проповедуйте всем благовую весть. Кто поверит и примет крещение, тот будет спасен, а кто не поверит, будет осужден. Мне дана вся власть на небе и на земле. А потому идите и обращайтесь все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать все, что заповедал я вам, и буду я с вами всегда, до скончания века!

Это были последние слова, которые апостолы услышали от своего распятого и восставшего из мертвых Господа. Они упали на колени и, крестясь, не сводили глаз со следов, которые пролегли на песке вдоль берега моря, а потом оборвались вдруг.



Перевод Ляны ТАТИШВИЛИ



## Из поэмы „Слово Ветра“

### ПЕСНЯ ВЕТРА

Я для вас пою и шепчу во тьму.  
Почему не слышите меня, почему?  
Отлетают вспять ваши дни, как дым,  
Вверясь суете и мечтам пустым.  
Пусть, как птицы, письма прыгнут из рук!  
Может, хоть тогда вы очнетесь вдруг?  
Отведете взгляд от лживых щедрот.  
Пусть тревога вам сердце обожжет.  
Утишите боль, плача о своем,  
А потом идите своим путем.  
Это я читал письма нараспев,  
Не сердитесь, зря не копите гнев.  
Скроет дум разлад драгоценный бред,  
Тайно заблестят слезы мыслям вслед.  
Молча схоронюсь в глубине ветвей...  
Мудрый опыт есть в шалости моей:  
Как ни мучит нас собственный разлад,  
Но в чужой судьбе он ясней стократ.  
Пусть сухой листвой вырвутся из рук  
Письма! Может быть, вы очнетесь вдруг,  
Отведете взгляд от лживых щедрот,  
Пусть тревога вам сердце обожжет.  
Ублажите боль песней о своем,  
А потом идите своим путем.

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Властелин мой, я покину вас вскоре:  
Я истомилась в чуждом городе этом.  
Жажду кисловатой воды Иори,  
Жажду до беспамятства игры с ветром!







## ПИСЬМО ВТОРОЕ, ИЛИ НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦА



Крепко обнимаю тебя, сынок.  
Материнский привет прими.  
И помни, да хранит тебя Бог —  
Надежду нашей семьи.  
Не праздна ли в городе жизнь твоя,  
Не полна ль беспечной ленцы?  
В думах о тебе состарился я  
И на сердце легли рубцы.  
В ожиданье проходят матери дни,  
Истомилась ее душа.  
Приезжай да на дочь Минаго взгляни:  
Просто чудо, как хороша!  
Коли свадьбы твоей дождаться, сынок,  
Внуков мать повынянчит, знай...  
В бурях жизнь прошла, и годы у ног...  
Но сберегли мы родимый край.  
В дни, когда отчизна звала: «Приди!»,  
Встали мы заодно, как твердь,  
И к земле припадали с пулей в груди,  
И бессмертье дарила смерть.  
Мы Победу сквозь тьму несли на плечах.  
Там, где боль пролегла, как шрам,  
Шли живые к нам с сияньем в очах  
И сирень подносили нам.  
А в родном селе, где лихо ножом  
Полоснуло каждую дверь,  
Обряжали в мандили преданных жев,  
Ободряли вдовых: «Не верь!»  
Что любовь! Вы забыли слово само,  
Груз семейный тяжек для вас.  
Знаю я: бессильно мое письмо.  
Хмыкнешь и забудешь тотчас.

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ, ИЛИ НЕПРИМИРИМОСТЬ

Привет, Вахтанг,  
Ну как ты? Не устал?  
Что ожидает тонкий наш журнал?  
Я утомила острие пера,



Но сохранила — чем душа жила.  
Как удалось?  
Наверно, повезло.  
Пойдем ли брат, что есть добро и зло...  
Здесь Альфа и Омега — заодно.  
А может, правда, все предрешено?  
И мы спешим на проторенный круг,  
Где ходит ветер, наш давнишний друг.  
Опять душа сомнениям близка.  
Опять на сердце тайная тоска.  
Из города ушла я, из тепла  
И снежный храм уделом избрала.  
Здесь Дева-Солнце в танце, в упоенье  
Кружится в небе. Белые колени  
Нагим сияньем спорят с облаками...  
Нетронутыми белыми сосками,  
Мерцающим молочно-белым телом  
Она влечет пространство. В мире целом  
Лишь косоглазый снег-пацан порою  
Заворожен приемною сестрою.  
С пустых полян, рассеян и набычен,  
Бредет туман, как евнух, безразличен...  
А Дева-Солнце волосы во сне  
По яблоневоцветной простыне  
Так рассыпает, словно из груди  
Плывут слова: я жду тебя, приди!..  
Арагви. И гостиница в снегу  
Белеет, замерев на берегу,  
Безмолвная. Но чудится: вот-вот  
Сорвется и отправится в полет.  
А тьма ущелий, как душа врага...  
Повсюду в полдень солнце и снега.  
Давно уже обрыдло здесь одной.  
Усталый взгляд пресыщен белизной.  
Пьют гуси, сохраняя гордый вид.  
Лечь под плетень дворняга норовит...  
Здесь по-мужски (иного не дано!)  
Проводим дни: то нарды, то — вино.  
И что ни вечер — танцы, как обряд,  
(И все по-русски «танцы» говорят).  
Но потный круг мучителен гостям,  
Награда им — кривлянье наших дам.  
Ведь лучше млеть, взирая на льстеца,



Чем умереть, зевая без конца.  
И старых дев квохтанье тут как тут.  
Со всех сторон глазами обрастут,  
У каждой четки сплетен на груди,  
Такое бают — Бог не приведи!  
С их губ стекает черная смола...  
Дородных дам плывущие тела  
Влекут заезжих, только укажи.  
И даже толстобрюхие мужи  
Осмеивают дружно втихаря  
Живущую стихам благодаря.  
Их сытый вой, их липкая грязца!..  
У них с лихвой и хлеба и мяса.  
Людишки эти множатся числом,  
Как слово Сакартвело<sup>1</sup> за столом.  
Все больше их. Взирают обнаглев,  
Причмокивая, словно нараспев.  
Единорожи в профиль и в анфас.  
Я их подобье видела не раз:  
Везде, где храма чистого стена, —  
Объедки и бутылки от вина...  
То радости повеет ветерок,  
А то тоска проляжет между строк,  
Чтоб угрожать обвалом.... Ну и пусть.  
Вернусь домой, и растворится грусть.

### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ, ИЛИ ВЕРНОСТЬ

Вновь письмо запоздало из моего вчера,  
Друг мой, моя названная сестра,  
Тихая в глазах людей, но подобно мне  
Судьбы раба, сгорающая в ее огне!  
Вот пишу, словно пересыпаю золу...  
Бродит скука по скудеющему селу.  
Бывает, фильм индийский крутят в кино...  
Все парни в город наострились давно,  
Так манит, что не удержат ни дом, ни мать...  
А каков тот магнит,  
Тебе ли не знать?  
Но раз решились, то и быть посему...

---

<sup>1</sup> Сакартвело (груз.) — Грузия.





Он пришел. И я простила ему  
Все — сколько ни было грехов и обид.  
Я простила. Может, и Бог простит?  
Не кляла нимало. Уходил, говорил: «Дела»...  
Все не понимала.  
А теперь поняла,  
Отчего с таким пылом  
Любовь он в землю втоптал:  
Трусом был он,  
Хотя таковым себя не считал.  
Трусом был он. Сводили его с ума  
Яркий полдень, ночная тьма.  
Ныл без меры, лишь бы не поднять век!  
Что без веры,  
Без мученья — что человек?  
Жил робея. И в душу входила боль  
Под аплодисменты и барабанный бой.  
Так постепенно приближался надрыв,  
То молчал, то взрывался, нетерпелив.  
А потом пропитал туманом вену свою  
И стал желанным в другом раю.  
Дым гашиша вился змеем по дереву зла,  
Белые таблетки стучали о край стола.  
Вдруг поняла: от белесых гранул  
Спасенья нет.  
И в мутную бездну канул  
Наш чистый след.  
Так впервые душу он отдал сатане.  
Дни слепые шли и умирали во мне.  
Скажи на милость, как помочь, у кого спросить?  
И становилось все невыносимее — выносить.  
Сжималось тело,  
Отчаянье и муку тая.  
И редела  
Вечная невозмутимость моя.  
О, что это было! Извелась, а все же ждала.  
Платье Надежды рябило в глазах села.  
Но приняла на себя и ношу опять,  
Будто не смогла, не смогла я его понять,  
Лишь бы не рядили о нем, смеясь и кляня!  
Пусть бы даже и осудили меня...  
Он вернулся! Не опишешь, слова пусты,  
Словно ветер-самум упал на город мечты.



С чем? Откуда? Попробуй перескажи!  
Но чудо: вдруг исчезли все миражи.  
Не по силам  
Прежнее изведать... Зря бередил.  
Лучше б убил он меня, когда уходил.  
А ребенок... Пустое  
И думать о нем. Хотя  
Вдруг Господь удостоит,  
Каким будет дитя?  
Ночь отрываешь —  
Не передашь всего.  
Но ты-то знаешь:  
Я не брошу его.  
Как ни пророчит жизнь, ни грозит судьбой...  
Если захочет, —  
Буду его рабой.  
Видно, до края  
Дней на этом пути  
Мне выпадает  
Слезы его нести.  
Все болевое пройдет и сойдет на нет.  
Лишь для него я  
Пришла однажды на этот свет.

### И ВНОВЬ ПЕСНЯ ВЕТРА

Тихо схоронюсь в глубине ветвей,  
Мудрый опыт есть в шалости моей:  
Как ни мучит нас собственный разлад,  
Но в чужой судьбе он ясней стократ!  
Жизнь, струясь и мчась, знай себе идет,  
Мойра, наклонясь, нить судьбы прядет.  
И душой шутя, правит суета,  
Путая слегка чувства и цвета.  
А кого винить? Худшее из зол —  
Счастье обронить, веря, что нашел.  
И в урочный час,  
Ускользнув опять,  
Божья милость вас  
Может миновать.  
Ближних впопыхах  
Судите подряд:  
В ваших во грехах



Кто не виноват!  
И таите страх,  
И растите месть,  
Чтоб в чужих глазах  
Правды не прочесть.  
Если бремя слов  
Излилось сейчас,  
Если писем зов  
Опечалил вас, —  
Не таите слез и не прячьте взгляд,  
А скажите так:  
«Ветер виноват».

Перевод Владимира ЕРЕМЕНКО



СПОРТ

## ВТОРАЯ ПОПЫТКА

В Монте-Карло завершился финальный матч претенденток на первенство мира по шахматам. Поединок трехкратной олимпийской чемпионки Наны Иоселиани с Жужей Полгар вызвал повышенный интерес в спортивном мире. Старшая из трех сестер вундеркиндов, кроме двух золотых олимпийских медалей, имеет в своем активе титул неофициальной чемпионки мира по «быстрым шахматам».

Нашу землячку не смутили эти высокие звания соперницы, многие годы она по праву входит в число сильнейших шахматисток планеты. Восемь партий не дали перевеса ни одной из сторон, как и серия из четырех партий с укороченным контролем времени. Жребий выбрал Нану Иоселиани, которой теперь предстоит матч с чемпионкой мира китайкой Се Цзюнь.

Для Наны это будет второй штурм шахматного Олимпа. В 1988 году она уже играла матч на первенство мира с Майей Чибурданидзе и уступила ей с минимальным счетом — 7,5:8,5.

Какой будет вторая попытка?





## НАМЛУЛУ, Или развороты старого пройдохи жоры Гвасалиа

### ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ

Приходилось ли тебе, мой доверчивый читатель, медленно умирать? Но не так, чтоб в итоге выкрутиться и выскользнуть из нежно дрожащих рук Микела-Габриэла<sup>1</sup> — этого заискивающего придурка — и впоследствии в беседах с друзьями вспоминать все подробности надвигающегося конца, а так, чтоб неминуемо умереть, сгинуть на веки вечные, отойти туда, откуда еще никто не возвращался? Глупая постановка вопроса. Ведь если бы с тобой все это произошло, ты был бы лишен возможности перебирать листы никчемной исповеди одного из пустейших и самовлюбленнейших смертных, коим, вне всяких сомнений, является автор этих строк. Но даже и для них — пустейших и самовлюбленнейших — наступает мгновение, когда им на выбор предоставляется щедрый набор прощальных фраз.

— Вот и все! — произнесла французская королева Мария-Антуанетта, когда палач занес топор над ее холеной маленькой головкой.

Впрочем, иные историки утверждают, что последним словом королевы было «мерси», адресованное все

---

<sup>1</sup>Микел-Габриэл — ангел смерти.



тому же палачу после того, как он бережно сгреб набок золотистые кудри королевы, обнажив тоненькую белую шею.

— Полный п..., — произнес в свои 29 лет мой друг Чимка перед тем, как впасть в забытие и отойти в вечную темноту.

Неплохо было сказано. Во всяком случае, лаконично и исчерпывающе. И без тени рисовки.

Но не идти же по проторенному пути. Надо было придумать что-нибудь свое, приличествующее возрасту. Хотя именно возраст тут как раз ни при чем. Разве в свои сорок восемь я не остался тем же, кем был в двадцать три, в пятнадцать, в шесть, в утробе матери, а еще до этого в вычисленном заранее замысле провидения?

Вот такие праздные мысли витали в моем ослабевшем мозгу на седьмой день болезни, когда я лежал, укрытый двумя одеялами, в чистой постели у себя в спальне на шестнадцатом этаже одного из корпусов Дигомского массива. В ногах у меня дремал мой маленький песик Ципо. На тумбочке рядом с кроватью лежал целлофановый пакет, набитый всевозможными таблетками и пузырьками. Рядом — термометр. К двум часам дня ртутный столбик остановился на отметке 38. По предыдущим дням я знал, что к семи вечера отметка поднимется где-то до сорока, а утром снова упадет до 35 с хвостиком. Умирать было печально, но не страшно. В конце концов, и мне когда-нибудь пора. Главное, что процесс протекал безболезненно, и даже озноб приятно щекотал тело. До туалета я кое-как доползал. В кармане джинсов у меня имелся комок купюр, — рублей на триста — мой последний гонорар в двадцать тысяч рублей (один Бог знает, каким образом удалось спихнуть одному из таинственных кооперативов очередную киношную требуху) доживал вместе со мной последние дни. Но в холодильнике у меня еще имелось мясо для собачки, а десять пачек индийского чая и две банки сгущенки в определенной степени решали продовольственную проблему. В замочной скважине дверей с обратной стороны я оставил ключ на тот случай, если пожалуют гости — сосед, какая-нибудь залетная птичка с нарумяненными скулами, какой-нибудь старый



дурак с набором вино-водочных изделий и двумя (для меня и для себя) блудницами под руку. Или, что вероятнее, целая орава игроков в покер — всевозможные поэты, прозаики, сценаристы, кинорежиссеры и прочие проходимцы — дети некогда цветущих, а ныне замусоренных и обездоленных грузинских провинций. Неожиданно мог нагрянуть известный киноактер с мрачным породистым лицом, испещренным глубокими морщинами. Этот приводил народ посOLIDнее: директора магазина автозапчастей, директора завода пепси-колы или одного из городских рынков. Тут игра шла по-крупному (в моих, конечно, масштабах). В этих случаях я обычно, как владелец «игрового поля», получив свой «тамбовский» куш, подсоединялся к артисту в четвертую, а то и в одну третью долю. Обычно нашему тандему сопутствовала удача. Однако с некоторых пор, а именно после того, как жизнь катастрофически подорожала и полгорода ходило по улицам пошатываясь от голода, игроки стали наведываться все реже и реже.

Я лежал в постели, медленно выкуривая одну сигарету за другой, и смотрел на гипсовый бюст Сократа, водруженный на платяной шкаф. И вспоминал слова его ученика Алкивиада: «Если бы вы обратили внимание только на его (Сократа) наружность и стали судить о нем по внешнему виду, вы не дали бы за него и ломаного гроша — до того он был некрасив и до того смешные у него были повадки; нос у него был курносый, глядел он исподлобья, выражение лица у него было тупое, нрав простой, одежда грубая, жил он в бедности, на женщин ему не везло, не был способен ни к какому роду государственной службы, любил посмеяться, не дурак был выпить, любил подтрунить, скрывая за этим божественную свою мудрость. Но откройте этот ларец — и вы найдете внутри дивное, бесценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимое, жизнерадостность неизменную, твердость духа несокрушимую и презрение необычайное ко всему, из-за чего смертные так много хлопочут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют».

Вот такая характеристика. Это тебе не «принципальный, политически грамотный, морально устойчивый,



принимает активное участие...» и так далее. Сократ все-таки, не хер собачий.

Его гипсовый бюст я приволок из «старой» кино-студии после очередной пьянки. Пили, разумеется, за мой счет, обосновавшись в одной из комнат-ателье, которую кто-то по недосмотру оставил незапертой. А может, она и вовсе не запиралась. Ничего ценного, кроме запыленных гипсовых бюстов, стоящих на длинном, сбитом из досок столе, тут не было, да и никому бы не пришло в голову, что на бюст может кто-то позариться. Вот тогда, утомленный патриотической болтовней сотрапезников, я скрестил свой взор с философом из философов. К своему стыду, я не знал, что это Сократ и, кажется, впервые в жизни взирал на его изваяние, известное человечеству еще с античных времен. И вдруг мне на ум оттуда, свъше, пришли слова, которые я только что процитировал. И наконец меня осенило — Сократ!

— Этого парня я забираю с собой! — объявил я громогласно.

— Забирай и всех остальных! — щедро распорядились собутельники. Сейчас они не только бюст Сократа, но всю Грузию, не раздумывая ни минуты, отдали бы мне безвозмездно и навсегда.

С тех пор Сократ поселился в моей квартире и, несколько захламляя ее, со временем был водружен на шкаф в спальне. И сейчас, лежа в постели, я впервые за то время, пока он у меня находился, устремил свой взгляд и мысли к самому симпатичному из всех смертных, живущих на земле. Интересно, какие последние слова произнес этот великий скоморох. Приговоренный, один черт знает за что, к смертной казни, он находился в темнице, когда служитель подал ему чашу с ядом. И Сократ выпил ее до дна, даже не поморщившись. Ученики со скорбными лицами взирали на него, кое-кто всхлипывал, другие еле сдерживали слезы. И никому даже в голову не пришло, хотя бы ради приличия, спросить — как пошло? А один из самых пылких воскликнул:

— С Сократ, это ужасно, что ты умираешь невиновным!

— Тебе было бы легче, если б я умер виновным? — спросил Сократ.



Но это ли были его последние слова? Я бы, например, на его месте напоследок послал бы этих плакстуд — подальше, на легком катере.

Вот такие праздные мысли переливались в моем воспаленном мозгу, когда мой уют, моя тихая радость, мой предсмертный кайф были нарушены грубо и бесцеремонно.

Услышав резкий звонок, собачка встрепенулась, соскочила с кровати и с лаем понеслась к двери. И тут же я услышал знакомый с детства хриловатый и уверенный голос:

— Привет из солнечной Абхазии! Только собаки тебе не хватало!

Если, к примеру, на одном из потийских или сухумских кладбищ я наткнулся бы на надгробный памятник с надписью «Жора Гвасалиа» и вмонтированный в него портрет человека с усиками и гладко зачесанными наверх волосами, то, наверное, не удивился бы так, как сейчас, лежа в постели. Невысокий, но компактный, в светлом макинтоше и надвинутой на глаза черной шляпе человек с туго набитой потрепанной спортивной сумкой в одной руке и дипломатом в другой стремительно шагал к моей постели. Развевающийся белоснежный шарф несколько освежал его старомодный облик. Жора Гвасалиа собственной персоной!

«Этот человек не даст мне умереть спокойно», — первое, что промелькнуло в моей голове.

Однажды, очень давно, в самом начале семидесятых годов, во время Первомайской демонстрации в Сухуми Жора Гвасалиа на глазах всего честного народа и заполнившей трибуну чопорной партийной верхушки демонстративно подошел к монументу Ленина, расстегнул штаны и окатил пьедестал такой мощной, поблескивающей в лучах майского солнца струей, что позавидовала бы пожарная команда.

— Специально десять кружек пива выпил, чтоб струя получилась красивой, — рассказывал он, отсидев положенный срок (в том числе, пять месяцев в камере смертника как враг народа) в Кутаисской тюрьме.

Поговаривали, что тогда, заключив пари, он выиграл баснословную сумму, что-то около миллиона,



хотя сам Жора, выйдя на свободу, решительно отвергал подобную версию.

— Это был политический акт! — заявил он категорично и с петушиным гонором.

Впрочем, это далеко не единственное из того, что он натворил.

Первым делом он полез целоваться. В нос мне ударил резкий запах «Тройного» одеколона. Целуясь, он обычно подставлял щеку, а сам чмокал воздух, и так три раза подряд. На этот раз я не попал впросак и сделал то же самое, звонко чмокнув пустоту. После этого он опустил сумку на пол, бросил шляпу и дипломат в кресло и присел на край кровати. Выглядел он как огурчик. Странно было подумать, что этот человек старше меня минимум лет на десять. Только в жгуче-черные и гладко зачесанные наверх волосы вкралась предательская седина.

— Ты еще живой? Откуда и куда?

— Командировка, брат, командировка, будь она неладна. Но, узнав, что ты заболел, тут же отложил все дела и напрямиком с вокзала — к тебе!

Врал он без зазрения совести, нахально глядя тебе в глаза, в полной уверенности, что ты лопух и простофиля. «Командировка!» И это в середине марта, после известных событий, связанных с осадой Дома правительства и бегством президента. И какому, спрашивается, ослу и по какому такому делу пришло в голову командировывать этого недоучку?

— Интересно, кто же это прямо на вокзале сказал тебе, что я болен?

— Совершенно случайно. Встретил, понимаешь ли, ну как его?.. Ну да, Гену Цумбу. Ну, Цумба, этот недоносок из Сухумской филармонии.

Никакого Цумбу из Сухумской филармонии я, конечно, не знал. Но и Гвасалиа не знал такого и придумывал его на ходу. А ведь я только что думал о Сократе. Как хорошо мне было со своими мыслями и нежным ознобом. С Жорой Гвасалиа мы не виделись лет, наверное, восемь. Даже странно, что он помнил, где я живу. Но так уж повелось: время от времени он врывался в мою легкомысленную жизнь из своей суматошной, и тут уже хорошего не жди. Однажды по его милости в Москве, в ресторане «Баку» мне в ик-



ру ноги воткнули лагерную финку. В другой раз, это уже в Тбилиси, чуть не забросали камнями, когда я висел на проволочном ограждении метрах в шести от земли.

— Ну, конечно, Гена Цумба! — «вспомнил» я. — Кстати, его настоящее имя Розенбей.

— Все, черт лысый, помнишь, — скалит зубы Гвасалиа.

— И вовсе он не недоносок. Хороший наивный парень. Главное, никогда не врет. Рубит правду-матку прямо в глаза, какой бы горькой она ни была.

— Послушал бы ты его на митингах в Сухуми, — с горечью произносит Жора.

— О митингах ни слова! — обрываю я его грубо. — У меня аллергия на политику. Даже телевизор не включаю. Разве не прочел на дверях — «Ни слова о политике»!

— Как же, имел удовольствие, — скалит зубы Жора.

Понятно, что никакой надписи на дверях моей квартиры не было и в помине. Но одно время я действительно собирался ее повесить. С той поры, как в Грузии проснулось и забурлило так называемое национально-освободительное движение, вплоть до последних декабрьско-январских баталий, политические разговоры (а только они и будоражили умы) воспринимались мною не иначе, как маразматический бред.

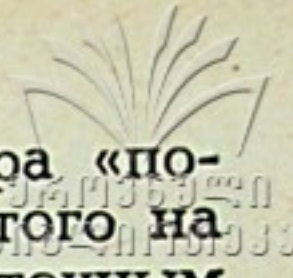
— Сам презираю митинговщину и пустейшие дебаты! (Жора любил выражаться высокопарно). Но, Бог мой, что эти негодяи сделали с проспектом Руставели! Что эти пакостники натворили?!

Кого именно имел в виду мой незванный гость, он уточнять не стал, но я уже догадывался, на чьей стороне его симпатии. Я вспомнил, как однажды все в том же московском ресторане «Баку» Жора Гвасалиа, изрядно разгорячившись водкой, заявил на весь зал, что через несколько лет на Красной площади будет воздвигнут монумент Лаврентию Берия.

— Держу пари с любым желающим! — лез он на рожон.

За какие такие заслуги будет воздвигнут монумент первому кагэбисту сталинских времен, он уточнять не стал. Но желающих принять пари не наш-





лось. Наши сотрапезники не возражали. Жора «поставил» им бесплатную водку с закуской, и этого на тот час было вполне достаточно. Если быть точным до мелочей, водку «поставил» не Жора, а я, но какое это может иметь значение.

Что же касается оскверненного проспекта Руставели, то это меня не касалось. Еще задолго до разрушений он перестал быть моим проспектом. По нему уже давно ходили чуждые мне люди. Не они строили этот проспект, не их отцы, деды и прадеды и, главное, не для них он строился. А те, кто так или иначе был к нему причастен, просто вымерли. Еще лет десять тому назад кое-кто из них временами попадался на глаза, неся отпечаток усталости и обреченности. А сейчас их просто нет физически.

— Значит, узнал от Цумбы о моей болезни и сразу ко мне?

— Если и мы, близкие родственники, не будем заботиться друг о друге, то кто же еще? — не моргнув глазом, ответил Жора Гвасалиа и, скользнув взглядом по трюмо, на котором лежали предметы женской косметики, спросил: — Где твоя кикимора?

О кикиморе он понятия не имел, она появилась года три назад, но интуиция его не подвела.

— Кикимора была выдворена вон за хамство пять дней назад!

— Терпеть не могу хамства! — с жаром подхватил Жора и извлек из кармана жилета старинные карманные часы. Эти часы фирмы «Буре» я помнил, кажется, со школьных лет и каждый раз удивлялся, что он до сих пор не пропил или не проиграл их.

С видом заправского врача старых времен он нащупал мой пульс и уставился на циферблат. По лицу его было видно, что пульсом он не удовлетворен.

— А сейчас спокойно и обстоятельно — что происходит?

Это была первая фраза по существу. С этого бы и начал: приехал, мол, по своим жульническим делам и, вспомнив, что я один, решил у меня остановиться. И не нужно было придумывать Цумбу из Сухумской филармонии.

Я рассказал, что и как: в первых числах марта, когда перестало работать метро (оно и по сей день



бездействовало), мне пришлось мотаться из конца в конец. Вот и простудился. Слег. Но, видимо, не вылежал. На третий день жар снова поднялся и дошел до отметки 40. И я решил снова слечь. Происходила странная вещь, а может, она была обычной, не так уж часто приходится мне болеть, чтоб разбираться в тонкостях. Утром температура падала до тридцати пяти с хвостиком, а часам к шести поднималась до сорока и выше. И так седьмой день подряд. За эти дни я сбавил около десяти килограммов. Дома у меня имелись портативные медицинские весы. Совсем недавно стрелка их катастрофически ползла к цифре 90. Мне, закончившему свою боксерскую карьеру во втором полусреднем весе (167 — ээ, когда это было), было весьма прискорбно констатировать факт ожирения. Сейчас же отметка на весах упала до 72 килограммов, и это тоже не давало повода для веселья.


— Врача-то я приведу, — серьезно произнес Жора. — Но это мало что даст. Нужны анализы.

Ничего особо мудрого он не изрек, но все же меня приятно удивила его осведомленность. «Нужны анализы». Мне-то и в голову это не приходило.

Сейчас я весело разглядывал своего пузатенького шкодливого гостя, отмечая про себя, что его тщательно вычищенные ваксой штиблеты требуют срочного ремонта. Он просто не вовремя появился. А так, если заглянуть глубоко в душу, я даже любил его. Вернее, любил в нем самого себя, каким был много лет назад, но об этом как-нибудь потом.

Между тем мой Ципо не спеша прошел в комнату, недоверчиво покосился на спортивную сумку, которая все еще лежала на полу посреди спальни, и стал ее осторожно обнюхивать. Сумка как сумка. Старая, клеенчатая, потрескавшаяся, потерявшая цвет и форму, она пестрела надписями. С одной стороны черные выцветшие буквы оповещали любопытных, что она «Сделана в СССР». Этого можно было и не писать. С другой стороны слово СССР было написано по-английски: Юньон Советик. Но и этого владельцу сумки показалось недостаточно и он приклеил к ней вырезанные из картона буквы «Адидас». Сумка закрывалась молнией. Кроме того, она была опоясана двумя брезентовыми ремнями и грязным пожелтев-





шим бинтом. Я лично предпочел бы с такой сумкой на улице не появляться. Но Жора был лишен пред-  
рассудков.

— Анализы я беру на себя, — заверил он авторитетно.

Я горько усмехнулся в ответ и слабым голосом, в который постарался вложить как можно больше сердечности, произнес:

— Жора, мне не нужны анализы. Я хочу тихо, спокойно умереть.

Я предчувствовал, что эта реплика взбесит его не на шутку. Стукнув кулаком по тумбочке, он закричал:

— Отказываюсь слышать и понимать!

И почти одновременно с ним залаял мой Ципо. Жора на этот раз не кривил душой. Он серьезно разозлился, даже глаза налились кровью.

— Презираю пижонов! — кричал он, брызгая слюной.

В моем признании, и правда, была доля пижонства. Но не это меня насмешило: одновременно с криком Жоры залаяла и оцетинилась собачка. И отскочила от сумки. Но тут же накинулась на нее вновь, хотя и не решаясь приблизиться.

— Пшел вон! — перекинулся на собачку Жора, схватил сумку за ручку и, оглянувшись, водрузил ее на гардероб рядом с бюстом Сократа.

Когда Ципо было месяцев пять-шесть, как-то, находясь с ним в Ботаническом саду (шла съемка фильма по моему сценарию), я снял с ветки ели улитку и положил на землю. Ципо проявил к этой незнакомой ему диковине большой интерес. Он осторожно обнюхал улитку и вдруг, почуяв, что за ее мертвым панцирем кроется таинственная и незнакомая ему жизнь, в панике отскочил от нее и разразился гневным лаем. Он целый час не мог оторваться от улитки, то приближаясь к ней и обнюхивая, то вдруг отскакивал, взъерошив лохматую шерсть. Нечто подобное случилось и сейчас.

— Что там у тебя, случайно не голова профессора Доуэля?

— Глупости мелешь уже полчаса, — парировал Жора, несколько оправившись от гнева, и пояснил:





в этой сумке он переносил белых крыс в лабораторию Гамкрелидзе, а мой обезьяний пинчер (между прочим, умнейшая из собак) учуял их запах.

Браво, Жора. «Обезьяний пинчер»! То, что у меня умнейшая из собак, я убедился давно, но что это обезьяний пинчер, узнал буквально на днях. Я был уверен, что это помесь болонки с дворнягой.

— Что за лаборатория Гамкрелидзе? — поинтересовался я на свою голову.

Этот невинный вопрос неожиданно вызвал у Жоры бурю негодования. Как это я, сценарист, интеллигент и интеллектуал, не слышал про лабораторию, о которой пять лет трезвонил весь мир и которую посетили ученые всех континентов.

— Кем же ты при ней состоял, переносчиком крыс? — спросил я с невинным видом. И тут же пожалел, что сказал.

— Харкать в душу ты умел и раньше, — горько заметил мой гость.

С его слов, он был первым заместителем Гамкрелидзе по хозяйственной части, а сейчас с его уходом распалась и лаборатория, потому что все держалось на его энтузиазме и деловых связях.

— Такие, как Жора Гвасалиа, на улице не валяются, — вспомнил я его излюбленную фразу.

— До сих пор телефона не поставил, растяпа, — упрекнул он в ответ. — Сообщил бы хоть мне. Уж я-то знаю, как это делается.

Интересно знать, куда бы я сообщил. Где обитал этот оборотень, я никогда не знал, но, собственно, и мало интересовался.

Наконец-то он вышел в другую комнату «обосновываться».

Ципо запрыгнул на кровать и устроился у моих ног. Через минуты три снова появился Жора в махровом халате. Ноги его были просунуты в тапочки с помпончиками и без задников. Легкая, еле заметная сетка на голове обволакивала густые, зачесанные наверх волосы. Комната снова наполнилась запахом «Тройного» одеколona. Чем-то порочным, мопассановским, веяло от всего его облика. Он велел мне поставить градусник и спросил, как звать соседа с телефоном. Ос-



танавливаясь у меня лет восемь назад, он пользовался соседским телефоном и, как видите, помнил это. Через минуту-другую я услышал голос Жоры Гвасалиа из-за стены спальни.

— Прокуратура! — кричал он в трубку. — Следователя Каландиа! Как соединиться с кабинетом судебной экспертизы?.. Главного эксперта Габуниа! Алло! Алло! Говорит Гвасалиа! Из Сухуми!.. Следователя Каландиа по личному делу! Нет, нет, прокурора Жвания беспокоить не обязательно!

Сосед с телефоном, которым он пользовался восемь лет назад, жил напротив меня через площадку. А голос Жоры раздавался из-за стены спальни. Выходит, что он звонил от новой соседки по имени Додо, поселившейся на нашем этаже месяца три назад. И с ней успел познакомиться. Впрочем, при его нахальстве сделать это было нетрудно.

## ВТОРОЙ РАЗВОРОТ

Расположившись в соседней комнате на диване, Жора часа полтора храпел на всю квартиру. Но к пяти был уже на ногах. Побрился. Повозился с чайником на кухне, я слышал, как он несколько раз открывал холодильник и, наконец, ушел, как сказал, за врачом. Я напомнил ему о комендантском часе.


На тумбочке рядом с моей кроватью появилась тарелка с двумя апельсинами и лимоном. Рядом на блюде лежали четыре таблетки — два анальгина и два аскофена. Тут же стоял стакан воды. Розетка была наполнена сгущенным молоком. Все честь честью. Сначала я должен был принять анальгин, а аскофен, как распорядился мой гость, только перед сном.

Как я и ожидал, к семи вечера температура подскочила до сорока градусов. Озноб усилился. Собачка, устроившись на моем животе, печально смотрела мне прямо в глаза.

— Что скажешь, Ципо?

Я часто разговаривал со своей собачкой, ни секунды не сомневаясь, что она все понимает. «Собаки — это те же люди, но они не умеют разговаривать, вот и вся разница», — очень давно говорил мой друг Чимка. За тот год, пока у меня жил Ципо, я убедился,





что это суцая истина. Ципо до такой степени отождествлялся в моем сознании с человеческим существом, что порою меня до хохота смешил его обрубок хвоста, словно бы он появился у моего близкого друга.

Постепенно стемнело. Когда стрелка на часах стала приближаться к цифре одиннадцать, я понял, что Жора уже не придет. И начал медленно погружаться в сон, как в теплую ванну. И перед помутневшим взором одна за другой начали всплывать видения давно ушедших лет.

Мои отец и мать работали в Сухуми, а я с братом жил у бабушки — народной артистки республики. Наша трехкомнатная квартира еще задолго до нашего рождения была частью обширной квартиры царского генерала Михако Вачнадзе. Когда в Грузии произошла советизация, дочери генерала, приходившиеся бабушке то ли однофамилицами, то ли троюродными сестрами, опасаясь, что в квартиру заселят «чернь», попросили именно бабушку с дочкой — моей матерью — занять три комнаты. Я помню этого генерала. Старик с окладистой бородой часто выходил погреться на теперь уже общий балкон. Помню и его жену Эмилию — баронессу Герт — маленькую старушенцию с пышным белоснежным париком на голове. И старик и старуха дожили чуть ли не до ста лет. Как ни странно, советская власть не стала преследовать царского генерала (солдаты называли его «отцом-батьюшкой») и его баронессу. Более того, в распоряжении дедушки Михако оставили его дом с участком в Манглиси до конца жизни. Наши квартиры — то есть квартиру бабушки и генеральских дочерей — разделяла стена и дверь, которую мы заклеили обоями. У старшей из дочерей генерала — Нины Михайловны — была дочь Таня, урожденная Барсукова. Барсукова я уже не застал. Его вытеснил (кстати, без особого шума и мелодрам) Василий Константинович Гунцадзе, геолог, бывший офицер, прекрасный шахматист и фехтовальщик. Он свободно изъяснялся на трех языках — грузинском, русском и немецком. В своей форме геолога с кокардой на фуражке, с пенсне на носу и тростью в руках, несмотря на почтенный возраст, выглядел весьма осанисто и импозантно.



Все детство я только и хитрил — как бы невзначай попасть на «ту» сторону квартиры. В нашей мне все было известно до мелочей. Там же меня на каждом шагу подстерегали десятки открытий. Я устраивался за столом рядом с Таней, и она начинала колдовать на чистом листе бумаги. Сделает карандашом линию, потом вторую, третью, соединит все это еле заметным штрихом и получается собака. Или кошка. Или лицо воина. Или футболист. Как это у нее получалось, было для меня полной неожиданностью. Казалось, что в ее тонких длинных пальцах сокрыта великая тайна.

Если же Тани не было дома или же она, плохо себя чувствуя, выходила в соседнюю комнату, я разглядывал коллекцию минералов, помещенную в подвесной шкаф. Или листал альбом с гравюрами, изображающими известные военные баталии. Это уже было ведомство Василия Константиновича Гунцадзе. У него также имелась настоящая боевая шпага. Но больше всего будоражили ум рассказы дяди Васи о великом Капабланке и непобедимом Алехине, с которыми он неоднократно встречался за доской и на различных турнирах. Кроме того, дядя Вася был ближайшим приятелем Наполеона Бонапарта, и рассказы о великом полководце и императоре в треугольной шляпе заполняли все мое существо таинственной причастностью к великим людям истории.

С годами я стал наведываться на «генеральскую» сторону почти каждый день, чтоб поиграть с дядей Васей в шахматы. Играл я для своего возраста неплохо, во всяком случае боевито и задиристо. Но каждый раз, попадая в хитроумные ловушки соперника, сдавал партию за партией и возвращался на свою половину с видом побитой собаки.

Василий Константинович любил Таню, как родную дочь, нежно и благоговейно. Каждый, кто общался с этой нежной, хрупкой девушкой с точеной фигурой и лицом библейской праведницы, в глазах которой, однако, затаилось лукавство, ощущал на себе излучаемые ею флюиды духовности. В семнадцать лет Таня поступила в Академию художеств. Она была любимой ученицей знаменитого Лансере, который утверждал, что Таня — художница от Бога. Ее акварели и



сегодня вызывают восторг и удивление. И надо же было талантливой и скромной Тане влюбиться в светливого и заносчивого Мюнхгаузена, каким в те далекие годы был Жора Гвасалиа. Они поженились. Пребывание в семье Вачнадзе-Гунцадзе наложило свой отпечаток на лексикон Гвасалиа — он обожал старомодные обороты: «Боже упаси!», «Во имя всего Святого», «Побойся Бога» и так далее, которые произносил с соответствующими словам жестами и интонацией.

Таня была на третьем курсе, когда случилась беда. Она заболела туберкулезом. В то же лето ее вывезли на лечение в Абастуман. Возвращение Тани ознаменовалось дружным семейным застольем, во время которого Жора Гвасалиа, слегка разгорячившись вином, всем на удивление вынул из кармана бельгийский браунинг и торжественно заверил присутствующих, что если небесам угодно будет отнять у него любимую жену, он в тот же час пустит себе пулю в лоб, для чего, собственно, и приобрел на толкучке оружие. Слушая эту клятву, Таня давилась со смеху и заразила этим смехом всех сидящих за столом. Дело в том, что за два месяца пребывания в Абастумане Жора навестил ее всего один раз, да и то в нетрезвом виде. Великое клятвоприношение обернулось фарсом, и оскорбленный Гвасалиа демонстративно покинул общество.

К нам то и дело стал наведываться доктор Джандиери — с саквояжем, пенсне на носу и аккуратной седой бородкой-бланже. Жора мотался по всей Грузии, временами врываясь, как ветер, то с мешком кукурузной муки, то почему-то в военной форме, то с синяком под глазом, то вдруг волоча за веревку козу. В семье его не любили. Считалось, что именно он виновник болезни юной художницы. Таня действительно очень переживала его постоянные исчезновения.

Как я узнал уже потом, став взрослым, Жора в этот период был связан с шайкой деревенских воров в Западной Грузии. Но никто в семье этого не знал. Считалось, что он работает инженером в УШОСДОРе (Управление шоссейных дорог), чем и объясняются его частые командировки.



— Не мог я появляться в полуголодной семье с пустыми руками, — оправдывал он свои частые исчезновения много лет спустя.

И все же было странным, что могло свести таких разных людей — взаимное тяготение к контрасту? Помню, я однажды заглянул на «ту» сторону квартиры. Жора Гвасалиа сидел за столом рядом с Таней со столовой ложкой в руках и умолял ее, как малое дитя, проглотить ложку бульона.

— Последняя, Танюша, заклинаю тебя всеми святыми. Хочешь, стану перед тобой на колени?

И он действительно стал на колени, держа на весу ложку. Таня со слезами на глазах молча встала и вышла в соседнюю комнату. И тогда Жора поспешно сам проглотил ложку бульона, а вслед за ней еще несколько ложек, пока не опустошил тарелку. Видно, сам подыхал с голоду.


Со временем процесс принял открытую форму и мне с братом было уже запрещено навещать на «ту» сторону квартиры. По просьбе Тани, нас выводили на улицу, и она смотрела на нас из окна. Постриженная под мальчишку, она смеялась и махала рукой. Мы ей махали снизу. Она умерла, когда Жора, как обычно, находился в отъезде. Узнав о смерти, он тотчас прискакал в Тбилиси, однако его и на порог не пустили. Во время похорон кто-то распространил слух, что в процессии замешался и ее непутевый муж.

— Голову размозжу негодяю! — возмутился Гунцадзе, сжимая в руке трость.

Видимо, угроза возымела действие — во время погребения Жора не появился. Но не прошло и месяца с момента смерти Тани, как Жора в нетрезвом, как говорили взрослые, состоянии в три часа ночи нагрянул на квартиру, требуя, чтоб ему выдали слепки, снятые с Таниных рук. Эти слепки сняли по заказу матери и отчима, и сейчас они лежали в застекленном шкафу на черном бархате, как самая ценная реликвия. Руки действительно были красивы — тонкие, интеллигентные и в то же время это были рабочие руки художницы. В пальцах застыл нерв.

Прослышав где-то о существовании этих слепков, Жора среди ночи заявился в семью, к которой ему запрещалось подходить на пушечный выстрел.





Переполошился весь дом. Женщины умоляли Василия Константиновича не открывать дверь, но старик, сжав в руке свою трость, так и рвался в бой. Кто-то позвонил в милицию. Гвасалиа, извергая площадную ругань, пытался взломать дверь.

— Живым он отсюда не уйдет! — полыхал в негодовании Гунцадзе.

Состоялась ли непосредственная стычка, никто на нашей стороне не знал, но, скорее всего, состоялась, потому что через какой-то промежуток времени Жора кричал уже с улицы, и мы с братом, выглянув в окно, увидели при свете уличного фонаря, что лицо его залито кровью.

— Мракобесы! Инквизиторы! Троцкисты! — кричал он. — Погубили мою Танюшу! Вы настраивали ее против меня всю жизнь! Отдайте мне ее руки! Я ваши мамины сиськи... — далее шло нецензурное.

Камень, который он швырнул с улицы, разбил одно из окон. В ответ из окна вылетел горшок с кактусом. Гунцадзе «стрелял» без промаха. Горшок угодил в ногу дебоширу, и он ускакал на одной ноге, грозясь, что вернется с автоматом Калашникова.

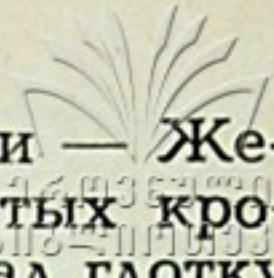
Но вернуться ему было не суждено, его перехватила милиция. Около месяца он с проломанной головой пролежал в больнице, а после этого полгода за свой ночной дебош просидел в Ортачальской тюрьме. Злые языки утверждали, что дебош он запланировал заранее, ибо на следующий день должен был явиться на сборный пункт новобранцев, отправляемых на боевые позиции. Однако война шла к победному концу, и Жора решил, что вносить свою лепту в общую победу не столь принципиально. Впрочем, чего только не выдумывают люди, лишь бы очернить человека кристальной духовной чистоты.

Все это предания старины. Жора Гвасалиа вновь появился на горизонте моей жизни, когда я стал выше него на полголовы. Но это случилось уже в другую эпоху. И об этом отдельный разговор.

### ТРЕТИЙ РАЗВОРОТ

Утром термометр показывал 37 и три. И я позволил себе выползти из квартиры. Я спустился на деся-





тый этаж, где жили две маленькие сестренки — Женя и Надя. Отец этих девочек — казак чистых кровей — совсем недавно в закуской перерезал глотку приятелю и отправился на долгое поселение туда, где хозяин медведь. Девочки перешли к дедушке. Они очень любили моего Ципо, называли его Малышом и готовы были хоть целый день бегать вместе с ним в окрестностях корпуса. Я попросил девочек прогулять Малыша. Лифт, как обычно, не работал и ползти обратно пришлось на своих двоих. Когда я еле добрался до своего этажа, Женя и Надя уже ждали меня у дверей. Ципо отправился на прогулку. Я вскипятил кофе, нашел в целлофановом пакете два бублика, подогрел их, позавтракал на кухне и снова вернулся в постель. По дороге к постели я взвесился. Стрелка замерла на отметке 70. Если учесть ботасы и все остальное, напяленное на тело, то получалось, что я неуклонно приближаюсь к весу, в каком я был во время моей бесславной боксерской карьеры. «Таает, как свеча», — констатировал бы Жора Гвасалиа.

Я лег, укрывшись одеялом и пледом. И медленно ушел в те годы, которые канули неизвестно куда.

В десятом классе меня вытурили из школы. Я переехал в Абхазию и завершал свое среднее образование в Сухуми. В определенных спортивных кругах тут хорошо знали меня и относились, как мне казалось, с должным почтением. К этому времени я был чемпионом республики среди юношей по боксу и имел в своем активе несколько неожиданных для многих побед. В одном из первых турниров, проводившихся в цирке шапито, я без особого труда стал чемпионом Абхазии. Жизнь казалась прекрасной. Отец мой был директором и главным режиссером местного театра, мать — ведущей актрисой. Одет я был, как мне казалось, с иголки. Тут не было проблем. Отец мне сказал в первый же день приезда: «Вот шкаф. Одевай все, что придет тебе в голову». В моем распоряжении было семь макинтошей, около десяти костюмов, шляпы, кепи, галстуки, туфли — на любой вкус и все импортные. О сорочках и говорить не приходится. Ну и все остальное, вплоть до зеркальных очков и гамаш. Отец был плотнее меня. Его макинтоши и костюмы сидели на мне чуточку мешко-





вато, что, как мне казалось, подчеркивало щеголеватую полублатную небрежность. Жили мы напротив Ботанического сада, в самом центре. Неторопливой походочкой я, минуя школу, шел на бульвар. Запах мимозы и настой магнолии в насквозь пронизанном солнцем городе действовали одурманивающе. За зарослями олеандров плескалось теплое зеленое море. Полная свобода! Хочешь, иди на причал, где располагалась спортивная водная база, и стой тут в компании полублатных придурков, хочешь — зайди в бильярдную. Можно, конечно, и в театр: заглянуть на репетицию, поиграть с актерами в шахматы или просто поболтать. Тут все меня знали с детства. И снова — на бульвар. Вместе с сумерками начинался парад-алле. Все самое красивое, что имелось в этом городе, вываливалось наружу. Когда начинало темнеть, в гостиничном номере моего тренера (он, как и я, прибыл из Тбилиси), небезызвестного Раждена Каладзе, зажигался свет. У него собиралась боксерская братия. Резались тут в дурачка, соображали ужин, выходили на балкон, чтобы с высоты третьего этажа обозреть прогуливающуюся публику (и себя показать, конечно). В этот, пожалуй, самый счастливый период моей жизни, в кругу вращающихся вокруг персонажей, вторично всплыл Жора Гвасалиа. Отец и мать, в отличие от стариков, не считали его главным виновником смерти своей супруги. И хотя в отношении их к Жоре и сквозила легкая ирония, встречали его радушно и по-приятельски. Иногда Жора заскакивал к нам на чашку чая. Придет, преподнесет маме цветы, расскажет новые «сенсационные» городские сплетни, похвастает своими достижениями, а, главное, солидными связями, и снова исчезнет.

Встречал я его почти ежедневно. Уже к пяти часам возле входа в гостиницу «Рица» собиралась местная «элита»: известный в прошлом футболист, кто-нибудь из актеров (обычно, герой-любовник), бывший директор турбазы, какой-нибудь известный грузинский поэт или драматург, какой-нибудь знатный приезжий из Москвы, какой-нибудь местный комик и так далее. И в этой почтенной компании Жора Гвасалиа в своей роскошной шляпе и с золотым перстнем на пальце играл далеко не последнюю роль. Он



весело здоровался со мной, но чаще приветствовал помпезно, выкрикивая какую-нибудь глупость, вроде: «В правом углу ринга чемпион мира и его окрестностей Леван Челидзе». Или, скажем: «Ввиду явного преимущества бой был остановлен на первой же минуте!».

Я, глупо улыбаясь, приподнимал шляпу и проходил мимо. И слышал, как Жора на мегрельском доводил до сведения приятелей, кто я такой, чей я сын, не забывая упомянуть, что мы ближайшие его родственники. Так что со временем со мной стали раскланиваться и приятели Жоры. А это, как мне казалось, придавало мне вес в самых влиятельных кругах.

В мае в Сухуми проводился чемпионат Грузии. Я был заявлен от команды Сухуми в легком весе. В город понаехала вся боксерская орава — ребята из Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Телави и других городов. Многие я знал по предыдущим турнирам. Я обнимался со старыми приятелями, приглашал целые компании в кафе и павильоны на мороженое.

В ту славную пору не имело значения, грузин ты или, скажем, ассириец. Главное, чтоб фамилия была красивой. А красивой она могла стать только после того, как ее носитель блеснет на ринге. Не имело никакого значения, Хута Аршба ты или Алексо Сидоропуло, курд Шике Броян или лезгин из Кутаиси Нами Кишаев, тбилисец Татевос Микаэлян или его боевитый однофамилец из Сухуми Гурген, Тортладзе ты или Бабаханиди, Щепетков или осетин Козаев, Андгуладзе или китаец Син-Гун-Чин из Сухуми. Главным критерием в определении личности были талант и благородство. Все остальное просто не бралось в расчет. И, как мне сейчас кажется, так называемое «пробуждение нации» началось именно с того, что жизнь выплеснула на поверхность огромное количество неталантливых и неблагородных, тех, кому надоело годами прозябать в тени. Я никогда не думал, что среди моей нации существует столько низкорослых и толстозадых уродов. Из какого дерьма всплыло это быдло, из каких дырок повыскакивало, из какой преисподней повылезало? Ведь в те годы, которые я вспоминаю, их вообще не существовало в природе.

В моем весе главным претендентом на звание чем-



пиона считался тбилисец Эрик Геловани. Когда я покидал Тбилиси, это был ничем не примечательный середняк — ни рыба, ни мясо. Однако за истекший с той поры год мне только и приходилось слышать из уст очевидцев и из газет — Геловани, Геловани. За то время, которое я его не видел, он опрокинул такие незыблемые авторитеты, в том числе и сухумских ребят, что это с трудом укладывалось в уме, оставляя осадок горечи. Мы всегда очень тяжело переносим падение кумиров и несколько предвзяты к тем, кто их опрокидывает. В юношеском чемпионате я в тот год не участвовал — провалялся два месяца в больнице Четвертого отделения с загадочным заболеванием — инфекционный мононуклеоз. После болезни это был первый чемпионат и, встретив Эрика на бульваре, я был несколько обескуражен его окрепшим, налитым бицепсами телом, мощными рычагами рук и маленьким, как кнопка, носиком, уже носящим отпечаток профессии. Мы сердечно расцеловались, поболтали.

— Поработаем в финале, — улыбнулся к концу беседы Эрик.

— Обязательно, — пообещал я весело.

Финал фактически вылился в командную встречу Сухуми—Тбилиси, если не считать полупегковеса из Кутаиси, неповторимого Бочолы. Он проводил свой бой как раз перед моим с сухумчанином Чупой Папиашвили — аккуратным и хитрым евреем. Единственная трибуна баскетбольного стадиона была заполнена публикой. А на заборе, окаймляющем площадку с восточной стороны, обосновалась босоногая пацанва. Я из раздевалки видел часть этого забора.

— Давай, Чупа! — кричали мальчишки тоненькими и довольно унылыми голосами. Трибуна молчала. Я понимал, что дела у Чупы складываются совсем не так, как этого хотелось бы его землякам. Диктор вскоре объявил в микрофон имя победителя. Окровавленный, разгоряченный Чупа вернулся в раздевалку, кроя тех, кто его сопровождал.

— При чем рефери! Все было, как и должно было быть! Оставьте меня в покое!

Но тут в раздевалку ворвался Ражден:

— Выходим!

Я вышел из раздевалки и неторопливой, расслаб-





ленной трусцой, словно экономя каждое движение, направился к рингу. Я выступал за столицу Абхазии, и поэтому мое появление было встречено шквалом восторга. Покосившись в сторону трибуны, я в первом ряду увидел Жору Гвасалиа. Он весь пылал, предвкушая захватывающее зрелище. Стоя на скамейке, он что-то кричал, сотрясая воздух кулаками.

Я нырнул под канат и запружинил ногами. Настроен я был на победу. Да и имел ли я право проиграть после столь бурного приветствия? Тем более Эрику Геловани, который в бытность мою в Тбилиси почитал бы за честь нести мой спортивный чемоданчик. Я не видел два его предыдущих боя, один из которых он выиграл нокаутом. Выступали мы один за другим, и в обоих случаях один из нас находился уже в раздевалке, когда второй только выходил. Однако меня предупредили, что прямым справа — очень сокрушающим — он достает соперника с такой дальней дистанции, с которой и атаковать вроде бы нет смысла. «Разберусь на ринге», — понадеялся я на себя. И напрасно. Он достал меня этим прямым в самом начале боя. И еще раз достал. И еще. И загудела буйная головушка. Вернее, даже не загудела, а захламилась какофонией, как неисправный транзистор. Несколько оглушенный, я маневрировал по рингу, «стреляя» время от времени левой и мало что соображая. Но одно я понимал ясно — мне необходимо довести раунд до конца.

Мой соперник, разумеется, думал иначе и решил рассчитаться со мной, как это говорится, «не отходя от кассы». Он тузил меня по перчаткам и по рукам, когда я уходил в глухую защиту, не давал мне и секунды на передышку. Последующая его атака была столь яростной и прямолинейной, что после того, как я сманеврировал корпусом влево, Эрик вылетел за канаты. В моем распоряжении оказалось несколько секунд, чтоб отдышаться, расслабиться. Эрик вернулся на ринг великолепным прыжком через верхний канат, но рефери преградил ему дорогу ко мне, взял его за руки и протер перчатки о свою белоснежную сорочку. И тут первый раз я услышал голос трибуны:

— Держись, Челидзе!

Это был Жора Гвасалиа.



Рефери продолжил бой. Я кругами пошел по рингу, то и дело меня направление и выбрасывая левую, которая не достигала цели. И наконец звякнул гонг.

Сколько же времени длился этот раунд? Час? Полтора?

Ражден плеснул мне в лицо воду и вовсю замазал полотенцем.

Отдыхая в углу, я ждал момента, когда шум в голове утихнет, и, когда он утих, включил на полные обороты все винтики мозга. Ражден что-то возбужденно советовал, но по его глазам я видел, что внутренне он примирился с поражением. Я же думал иначе. «С немыслимого расстояния он достает меня правой, в чем дело? Неужели у него такие длинные руки?» — решал я задачу. Руки у Эрика были не длиннее моих. Может, он резко бросает корпус вперед, вдвое сокращая расстояние? Но ведь тут я могу поймать его на встречном. Почему же этого до сих пор не случилось? И тут до меня наконец-то дошло — секрет заключался в паузе между легкими ударами левой и сокрушительным правой. Именно, именно! Пауза вводит в заблуждение, внося дисгармонию в ритм боя. Что же... надо будет усечь момент и заставить его промахнуться. Один раз. Потом второй. И еще. Мощные удары по воздуху измотают его к концу раунда. И после каждого такого удара в мое распоряжение предоставляется доли секунд, чтоб провести легкую осторожную контратаку. И тут интересно проверить, как чувствует себя этот молотобоец на средней дистанции. Ведь это моя любимая дистанция. На этой дистанции сподручнее импровизировать. А без импровизации нет бокса. Вернее, может быть, но разве это бокс. Мозг работал четко, как компьютер. Душа рвалась в бой. Рвалась, рвалась! И когда звякнул гонг, я был свеж и невозмутим. Все для меня начиналось сначала. Я был предельно собран. Я улучил момент паузы и пустил вразрез правую. Через мгновение удар под стать кувалде просвистел рядом с моей головой. Он опять промахнулся. И в это же мгновение мой крюк справа и тут же коротким слева коснулся его подбородка. Я слышал, как оживилась трибуна. И это придало мне новые силы. Как черт, выскочивший из



преисподней, я вырастал перед его носом, маневрируя корпусом и предлагая комбинационный бой. Средняя дистанция! Ни в коем случае не давать ему простора.

«Он просто не умеет боксировать на средней дистанции, — убеждал я себя. — Не знает, что делать, откуда ждать удара и даже закрывает глаза». Я отыгрывал очки легкими ударами справа и слева. Легкие, легкие, но они каждый раз заставляли Эрика врасплох.левой снизу — слегка замедленный и резкий правой сбоку. А сейчас наоборот — правой снизу — левой сбоку. (Есть! Попал в подбородок.) Раунд был выигран. Я легко поскакал в свой угол, чтоб никто, Боже упаси, не догадался, что ноги мои словно бы налиты чугуном. Теперь все решал третий раунд. Однако, психологически я был в более выгодном положении. Я изменил ход боя в свою пользу, хоть и не столь очевидно.

В семнадцать лет силы восстанавливаются стремительно. Звякнул гонг, и я смело пошел на сближения, уклоняясь от увесистых прямых соперника. По глазам Эрика я видел, что он несколько растерян. Самый момент повалить дурака. Но осторожно, держа ухо востро, я стал менять стойку — левосторонняя, правосторонняя. И это тоже сбивало его с толку. Он то и дело натыкался своим маленьким носиком на выбрасываемую вперед левую или правую. Что, Эрик? Что тебя смущает? Или, может, ты забыл, что я Леван Чик? Я боксер, а не индеец, которых ты кромсал целый год на рингах различных городов страны. Но, конечно же, Эрик тоже не спал. От его увесистых прямых снова загудела голова. Но теперь сквозь гул я продолжал следовать намеченному плану. И наконец-то! Я его подцепил в «дыхалку». Коротким слева в самое солнечное сплетение. Он ушел в глухую защиту.

— Добивай его! Добивай! — заорали мои земляки.

Трибуна ликовала. Гул толпы перекрыл уверенный голос Гвасалиа:

— Посади его на ж..у!

Взрыв хохота прокатился по рядам.

Нет, я не накинулся на своего соперника, очертя голову. Я пританцовывал над ним, ушедшим в глухую



защиту, изредка стреляя то левой, то правой, стараясь найти незащищенное место. Казалось, что победа близка.

Эрик вошел в клинч, и мы сцепились в середине ринга. Рефери с трудом расцепил нас. И вдруг два оглушительных удара в голову сбили меня с ног. И хотя я тут же вскочил, всем своим видом показывая, что это чистая случайность и я готов продолжать бой, рефери открыл счет. И довел его до восьми, после чего попросил меня протереть перчатки о майку. И только после этого возобновил поединок. Оставались считанные секунды. Гонг застал нас в обоюдной атаке.

Мы обнялись и разошлись — каждый в свой угол.

Если бы не нокаун на последних секундах, я мог бы быть совершенно спокоен за исход поединка. Сейчас же все повисло в воздухе.

Решающим фактором в определении победителя мог стать авторитет тренера Эрика, в прошлом чемпиона страны, одного из самых интеллигентных и бескомпромиссных сподвижников грузинского бокса. Сам он по болезни на чемпионат не приехал, но дух его витал над рингом — все хорошо знали, что Эрик — его самый сильный козырь. Он ревностно следил за продвижением своего подопечного на спортивный олимп. И тут начало происходить нечто непонятное. На судейский стол кто-то из зрителей, — я не видел, кто, — запустил ком земли. Главный судья и все, кто сидели рядом, привстали, поднимая протоколы и прочую документацию, чтоб смести со стола рассыпавшийся на мелкие куски ком. Я не знаю, за что два мелкотелых милиционера пытались выдворить с трибуны Жору Гвасалиа, но я хорошо видел, как мой «ближайший родственник» оказывает им такое бурное и энергичное сопротивление, на которое способен человек, отстаивающий кровное и правое дело. Неспроста его поддержали сидящие вокруг, и стражам порядка в скором времени пришлось сквозь частокол ног пробираться обратно к выходу, где им и надлежало стоять. Ражден подмигнул мне и хлопнул ладонью по заднице. Высоко подняв руки, я прогарцевал к центру ринга и отвесил зрителю три низких поклона.



Трибуна загудела, оживилась. Уверенный хриплый голос Жоры Гвасалиа перекрыл все остальные шумы.  
— Победил Челидзе! — заорал он.

Рефери собрал судейские записки и передал главному судье— Навасардову. Прославленный в прошлом тяжеловес и те, кто сидели рядом, углубились в записки боковых судей. И никак не могли в них разобраться. Одну из записей главный судья возвратил рефери, и тот вылез из ринга, вернул листок боковому судье, сам склонился над его столиком. Наконец ошибка была найдена, и листок переправили на стол главного арбитра. Крики и свист утихли. Гвасалиа с неистовым пылом повторил свой призыв, называя мою фамилию. На этот раз требовательно и даже с угрозой. Трибуна пришла в движение. Свист, выкрики, площадная ругань слились в нагнетающий психоз гам.

Навасардов на секунду оторвался от бумаг и не без опаски взглянул на разбушевавшуюся трибуну. Я тоже краем глаза посмотрел в сторону зрителей. На скамье первого ряда с перекошенным от ярости лицом стоял Жора Гвасалиа. Шляпа его съехала набок. Концы белого шарфа, как крылья, колыхались с обеих сторон. Выставив вперед кулак, он гаркнул в третий раз:

— Победил Челидзе!

И столько несокрушимой уверенности и нахальства бурлило в его голосе, а глаза метали такие громы и молнии, что я подумал, что у судей просто не хватит смелости вынести иное решение. Тем более, что вся трибуна, следуя его примеру, поднялась на ноги и чуть ли не каждый выставил вперед разъяренный кулак.

Рефери между тем подозвал меня и Эрика на середину ринга, поймал наши кисти рук, с которых мы еще не успели распутать бинты, и застыл в ожидании объявления победителя. И наконец-то информатор убедительно и с нарастающим пафосом (чтоб угодить публике) произнес мою фамилию. Трибуна взорвалась восторженным воплем. Жора Гвасалиа подкинул свою шляпу в воздух, и она, спланировав, как парашют, опустилась в центр ринга. Несколько пар рук подхватили меня и понесли в раздевалку.

Так закончился мой поединок с Геловани.



Жора Гвасалиа помнил этот бой до мельчайших подробностей, многие из которых придумал сам. Вот за что я любил Жору Гвасалиа. А вернее — любил в нем себя таким, каким был когда-то. Он был свидетелем моего триумфа. Более того, он был его активным участником.

Однако, не обошлось и без того, чтоб в бочку меда злые языки не добавили бы ложку дегтя. Без этого, как я убедился, просто не бывает.

Когда вечером, дождавшись отца из театра после премьеры, я сунул ему свою грамоту, он устало отмахнулся:

— Бумажка — ерунда. Говорят, Жора Гвасалиа выиграл десять тысяч рублей и десять застолий в ресторане «Абхазия». Это правда, что он терроризировал судейскую бригаду?

— При чем Гвасалиа? Я победил по всем пунктам, — возразил я заносчиво, но настроение было подпорчено.

Ближайшие дни Жора Гвасалиа действительно не вылезал из ресторана «Абхазия» и даже послал на столик, за которым сидел я со своей «Марианой», бутылку шампанского. Но я видел собственными глазами, как он сам расплачивается за стол.

В тот же год я в составе сборной Грузии побывал в Вильнюсе, Ростове и Казани. Стараясь ничем не выдать охватывающую меня гордость, я разгуливал по улицам этих городов в спортивной пижаме с надписью через грудь: «Грузия». И мне казалось, что мне завидует весь мир и его окрестности.

#### ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗВОРОТ

Так беззаботно и радостно проходил мой сухумский период жизни. Думаю, и для Гвасалиа до поры до времени он был одним из благостных. В эту пору у него была вторая жена — довольно грузная, уже немолодая матерая провинциалка, которую он демонстративно, с подчеркнутым почтением водил по улицам под руку. Но большую часть времени, как я уже говорил, он простаивал в компании местной элиты у гостиницы «Рица». К вечеру компания рассасывалась кто куда. Самые знатные, в том числе и Жора, устраивались за одним из столиков ресторана



«Рица». Часто прогуливаясь мимо гостиницы, я через запахнутые окна видел, как Гвасалиа с присутствующим ему пылом произносит очередной тост или с шумом откупоривает бутылку шампанского.

Однажды я увидел его во главе большого стола. В компании местных прожигателей жизни сидели наши северные, так называемые старшие братья: трое солидных мужчин и один из них — лысый, с блестящей, как бильярдный шар, головой, с депутатским значком на лацкане светло-серого пиджака, и две красивые дамы из разновидности путанок высшего эшелона. Жора, стоя с наполненным фужером в руке, с вдохновением декламировал Игоря Северянина. Пребывание в семье Вачнадзе-Гунцадзе, как видите, не прошло для него впустую:

Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!  
Удивительно вкусно, искристо, остро!..

Северянин в ту пору был всеми забыт, а официальной критикой выметен на свалку. Партийные товарищи, понятно, не знали, чьи стихи читает «мой ближайший родственник», однако инстинкт самосохранения подсказывал им, что тут может быть зарыта крамола. Они поглядывали на Жору с наигранной иронией. Зато дамы, распаленные вином, подавшись к тамаде всем телом и душой, уже не в силах были оторвать от него синих восторженных глаз.

Жора Гвасалиа декламировал гостям из России стихотворение их соотечественника, о котором они ведать не ведали, и этот факт, вне сомнений, учтется «там», где каждый поступок будет взвешиваться на аптекарских весах, как положительный баланс в биографии. Слова же «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!» западали в души гостей, как намек на другую жизнь — свободную, раскованную, на которую ни один из них, в силу еще неосознанных причин, не имел права.

А еще дня через три, проходя вечером мимо запахнутых окон ресторана «Рица», я стал свидетелем потрясающего зрелища: Жора танцевал с дамой танго. Дама была роскошной — загорелая, белокурая, почти на голову выше своего партнера (а может, виной тому были ее серебристые, на высочайшем каб-



луке, босоножки), она проворно подчинялась каждому его движению. Спина ее была оголена. На длинной, обтягивающей таз юбке зиял прорез до самого бедра. Кроме Жоры и блондинки, на площадке никого не было. Видимо, этот танец он заказал специально для себя одного. Нет, у меня не хватит слов и красок, чтоб описать это танго. У Гвасалиа была такая серьезная мина, словно бы в мире нет занятия важнее и ответственнее. Он разворачивал свою партнершу то влево, то вправо (ах, как же артистичны и неожиданны были эти развороты, сколько в них было блеска и грации), то потом резкой пробежкой пересекал площадку, чтоб внезапно остановиться, и тогда она, высоко подняв свою загорелую точеную ногу, запрокидывалась головой чуть ли не до самого пола, а он крепко держал ее за талию, подавшись всем телом вперед. Левая сторона гладко зачесанных наверх волос упала на лоб. Что-то порочное, от мопассановских героев, сквозило во всем его облике.

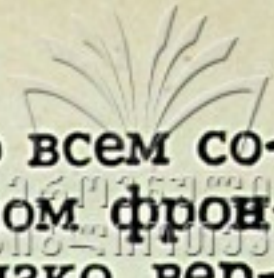
Посетители ресторана пламенными аплодисментами поблагодарили участников этого сольного танца.

Жора с подчеркнутой галантностью подвел даму под руку к ее столу и с почтением вверил тем, в компании которых она находилась. Это были пожилые холеные львы из породы столичных знаменитостей.

Вот вам и кровавая сталинская эпоха. Более того, сознание, что там — наверху, в столице огромного, наводящего ужас на всю Европу государства восседает и правит придирчивый до мелочей Хозяин с кондукторскими усами, придавало празднику нашей юности особую остроту. И все же Хозяин был!

Скандал разразился внезапно, по словам Жоры, «как гром среди ясного неба». Фельетон под заголовком «Гарсон! Шампанское!», напечатанный 18 мая в газете «Советская Абхазия», произвел эффект взорвавшейся бомбы и взбудоражил весь город. Взбудоражил он, понятно, не литературным достоинством и тонкостью пера автора. Напротив. В литературном, да и во всех других отношениях (кроме, может быть, заголовка), это было типичное газетное убожество. Схема, по которой он был составлен, знакома нам всем по столь недавним публикациям. В фельетоне шла речь о том, что в нашу героическую эпоху, ког-





да труженики Абхазии вместе, разумеется, со всем советским народом не жалеют сил на трудовом фронте во имя мерцающих уже где-то очень близко вершин коммунизма, находятся отщепенцы, всецело отдающие себя пьяному разгулу. Автор недоумевал по поводу того, как этот позорный пережиток прошлого до сих пор может иметь место там, где человеку предоставлены все условия для полного и гармонического развития. Речь шла о подозрительных личностях, околачивающихся возле гостиницы «Рица», о их праздном вызывающем образе жизни и о том, что в вечерние часы эти «добрые молодцы» прочно обосновываются за столиками ресторана. Хлопают пробки шампанского. И зычный голос нигде не работающего Жоржа Гвасалиа оглашает окрестность: «Гарсон! Шампанское!». Самое интересное, продолжал автор статьи, на какие такие средства позволяют себе нигде не работающие «орлы» эти залихватские купеческие кутежи. Далее автор статьи обрушивал свой гнев и на правоохранительные органы, которые по халатности до сих пор не заинтересовались этим явлением, позорящим престиж города, завоевавшего репутацию всесоюзной здравницы. Ну и так далее. В числе лиц, названных в этом фельетоне, значился и наш мопассановский герой, причем, реплика: «Гарсон! Шампанское!» была вложена именно в его уста. Иначе говоря, имя Жоры Гвасалиа было упомянуто в газете дважды, а это по тем временам имело существенное значение.

Ни в тот день, ни в последующие у входа в ресторан на бульваре уже никто не стоял. Появись в печати нечто подобное в наши дни, это, в худшем случае, могло бы стать предметом злых шуток. Тогда все было иначе. Репутация лиц, упомянутых в фельетоне, была подорвана на корню на целые десятилетия, а то и на всю жизнь. Конечно, всеми ими тотчас занялась милиция и прокуратура. Для многих запахло выселением из города, а может, и лишением свободы. Многие из упомянутых в фельетоне лиц тотчас покинули Сухуми, предпочитая на первых порах отсидеться в окрестных городках и деревнях. И даже ни в чем не повинный ресторан «Рица» был закрыт почти на неделю.



Часов в шесть вечера во время обеда к нам ворвался Жора Гвасалиа с двумя бутылками шампанского. На нем не было лица. Отец и мать встретили его радушно, но с легкой опаской.

— Вы, конечно, читали этот подлый пасквиль? — пылал Жора негодованием. — Эту омерзительную ложь! Эту гнусную клевету! Так оклеветать порядочного человека (он был уверен, что принадлежит к числу порядочных) может только негодяй высшей марки! — и, не давая ни отцу, ни матери раскрыть рта, он с места в карьер стал излагать шаги, которые уже предпринял. Он только что был в горсовете и предупредил Гвазава, что выведет всю его шайку на чистую воду, если газета срочно не опубликует опровержение. Он только что был в редакции, где в кабинете редактора схватил со стола тяжелую чернильницу и пригрозил, что сейчас же проломит ему, т. е. редактору, череп (терять-то уже все равно нечего), если он не назовет имя гниды, подписавшейся под фельетоном миролюбивым псевдонимом «Кациа». Он ворвался во время совещания в кабинет секретаря обкома, где предъявил Кучава свою трудовую книжку, а из нее явствовало, что он шесть лет проработал инженером на шахтах в Ткварчели. «Шесть лет, как крот, провел под землей, — с надрывом произнес Жора, — где зарабатывал в месяц по двадцать тысяч!» и что только серьезная болезнь супруги вынудила его приехать в Сухуми и заняться ее лечением... Но и тут не сидит, сложа руки, являясь ведущим экскурсоводом турбазы. Он действительно числился внештатным экскурсоводом, и однажды я даже видел, как Гвасалиа, энергично шагая по бульвару, возглавлял целую толпу белобрысых простаков — казалось, за ним шла вся Россия. И нес при этом вменяемую ему в обязанности чушь: — «И только после третьего апреля 1921 года с установлением советской власти начался подлинный расцвет Абхазии!».

— Автор фельетона интересуется, на какие деньги я обедаю в ресторане, так поясните этому прощелыге, что я за один год зарабатывал больше, чем он за всю жизнь! — брызгал он слюной.

Многое он наговорил в тот вечер. И то, что фо-



тография его до сих пор красуется на доске почета Ткварчельской шахты, что он сейчас не остановится ни перед чем и дойдет, если надо, до Берия, а, будет нужно, и до самого Сталина, чтоб реабилитировать свое честное имя труженика и борца за светлое будущее. Он напомнил матери и отцу, что мы фактически являемся его единственными родственниками (родители Гвасалиа, если не ошибаюсь, были высла- ны в тридцать восьмом и с тех пор никто ничего о них не слышал), что Таня Барсукова — единственная женщина его жизни, с мыслями о которой он не расстаётся ни днем, ни ночью. В подтверждение этого заявления он вынул из кармана объемистую запис- ную книжку и извлек из нее фотографию — обна- женная Таня Барсукова сидит на раскладушке, за- кинув ногу на ногу, и улыбается. Вот, вот она, глав- ная женщина его жизни, и он во что бы то ни стало устроит персональную выставку ее работ, а если нет, то плюньте ему в лицо!

— Лансере называл мою Танюшу чародеем ак- варели! — брызгал слюной Гвасалиа, пряча снимок вместе с блокнотом обратно в карман.

После этого он с удвоенным пафосом вернулся к цели своего визита. Он заявил, что опровержение уже написано, что редактора Бучукури уже взяли в оборот — к нему звонили из городской прокуратуры, из обкома и из милиции с настоятельным требова- нием опубликовать опровержение. Но будет особен- но важно, если с этой же просьбой к редактору об- ратится директор и главный режиссер театра, ре- форматор абхазской сцены и человек кристальной чистоты — мой отец, депутат Верховного Совета Аб- хазии.

— Ты понимаешь, Сережа, это придаст инциден- ту нравственный оттенок!

И он снова вернулся к Тане Барсуковой и снова извлек из кармана ее снимок.

— Эх, Таня, Танюша, хорошо, что хоть ты не дожидала до этого позора. Хотя что я тут разоряюсь. Я умер вместе с тобой. Сейчас я только доживаю.

— Шумно доживаешь, — уточнил мой отец.

— Тебе бы только шутить, — вздохнул Жора и разлил шампанское по бокалам.



На прощание он расцеловал всех нас и сказал, что идет сейчас к главному архитектору города Таварткиладзе, которого, как и всех, возмутил этот мерзкий опус.

— Итак, я надеюсь! — были его последние слова.

Дверь в подъезд шумно захлопнулась.

— Он правда работал шесть лет в Ткварчели? — спросил я отца, когда мы немного пришли в себя от гвалта, который он поднял.

— Не знаю насчет Ткварчели, но что касается Драндской колонии, я сам на протяжении целого года возил и посылал ему передачи, — уточнил отец.

Мама давилась от хохота. Оказывается, она представила себе фотографию нахальной морды Гвасалиа на доске почета в Ткварчели.

— Пап, ты все же позвони в редакцию, что тебе стоит, — посоветовал я.

— Делать мне больше нечего, — ответил отец и пошел в ванную мыть руки. После обеда он всегда мыл руки.

Но свершилось чудо. С момента визита Жоры прошло не более двух недель, и «Советская Абхазия» выступила с опровержением. На четвертой странице, в том углу, где помещают траурные объявления, в небольшой публикации под заголовком «Досадная ошибка» было написано, что по оплошности автора фельетона Джанджгава (на сей раз обошлись без псевдонима) в список праздных бездельников был ошибочно внесен Георгий (Жора) Калистратович Гвасалиа — передовик труда и достойный подражания семьянин, и что редакция приносит свои извинения за допущенную оплошность.

В те годы опровержения, как правило, не публиковались — и его появление в печати тоже было воспринято сухумчанами, как сенсация.

— Читали опровержение? — перекликались на улице прохожие. — И что по этому поводу скажете?

В тот же вечер в двери нашей квартиры кто-то забарабанил ногами. Руки Гвасалиа были заняты. Он держал торт величиной с огромный поднос. Пышный, белоснежный, он сплошь был уложен клубникой. Из боковых карманов пиджака Жоры торчали бутылки.



— Ради Бога! — хохотал он. — Освободите мне руки.

Помимо торта он принес две бутылки «Букета Абхазии». Безымянный палец руки моей матери был увенчан золотым колечком с маленькой изумрудной звездочкой. Отец удостоился горячего поцелуя в воздух. Гость был преисполнен благодарности.

— Я знал, что вы не оставите меня в беде!

Отец скромно улыбался. Конечно же, он был смущен.

— Праздник бушует на нашей улице! — ликовал Гвасалиа.

Отец, Жора и я отметили этот праздник звонким чоканьем бокалов.

— Намлулу! — с воодушевлением произнес Жора незнакомое слово, многозначительно глядя отцу в глаза, и опрокинул в себя бокал.

За окном раздались три коротких автомобильных гудка.

Жора выглянул в окно.

— Иду! — бросил он ожидавшему его черному «ЗИМ»у.

И он действительно вскоре отбыл, чтоб отблагодарить и всех остальных, принявших столь горячее участие в его судьбе.

«...Отцвели уж давно хризантемы в саду...» Прошло миллион лет. В дождливый серый день я встретил озабоченного Жору в Москве на улице Горького. Я пригласил его под свой зонтик, мы прижались щеками и смачно чмокнули воздух. Не виделись мы до этого лет, наверное, десять, но оба по тайной договоренности сделали вид, что это не столь уж существенно.

— Мог бы ты накрыть стол на три персоны? — спросил Жора и коротко пояснил, — для дела.

— Хоть на десять, — ответил я с пижонским бахвальством.

— На десять не надо. Их вместе с нами будет шесть человек. Подожди меня в гардеробе.

Я прошел в ресторан «Баку». Жора же с моим зонтиком кинулся через улицу к телефонной будке. Куда-то позвонив, бросился обратно.

Мы поднялись на второй этаж и заняли столик в



глубине второго зала. В ожидании гостей мы умяли по порции пити, распили бутылку водки, помянули былые годы. Я напомнил ему его знаменитое опровержение.

— Как же, — усмехнулся Жора. — Дал я им прикурить!

Отец и мать мои к этому времени уже перешагнули рубикон, который для живых был и будет извечной тайной. Мы помянули их тихим тостом. Помянули и Татьяну Барсукову. Поразмыслив немного, я произнес:

— Жора, а ведь отец тогда не ходил и не звонил в редакцию.

— Я заранее знал, что он палец о палец не ударит, — отозвался Жора спокойно, как о само собой разумеющемся.

— Но что же тогда означали...

Я замолк на полуслове.

— А может, лучше не надо? — бросил Жора, ушлетая толму.

### Продолжение следует



---

## ХРОНИКА

---

Согласно договоренности, достигнутой 14 мая нынешнего года в Москве во время встречи глав государств России и Грузии, был издан приказ главнокомандующего вооруженными силами Республики Грузия о прекращении огня по всем линиям фронтов абхазско-грузинского вооруженного конфликта. Со стороны грузинского руководства было объявлено не открывать первыми огонь, гарантом чего выступил глава государства Грузии Э. Шеварднадзе. К сожалению, вооруженные формирования гудаутской стороны неоднократно нарушали принятую договоренность. 13 июня нынешнего года поступило сообщение о том, что гудаутские руководители издали приказ о прекращении огня 14 июня 1993 года с 00 часов и о запрещении ведения каких-либо боевых действий, а также передвижения боевой техники и войск по всему фронту.

[продолжение на стр. 139].



Илья ЧАВЧАВАДЗЕ

## Афоризмы

Материнское сердце — это море любви. Если матери сказать, что ее умирающий сын проживет еще два дня, но за это она должна обречь себя на вечные муки в аду, мать, не колеблясь, согласится...

Какой бы малой ни была отчизна, в честном и благородном сердце она занимает большое место.

Копье, огромное и всесильное, кровь проливает, тихая, маленькая игла же одевает голых и сырых.

Меж честными врагами посредник — совесть.

Не велика заслуга любить счастливого и удачливого, важно любить того, кто обделен судьбой.

Знание — непобедимый щит в жизни, острая сабля нужна, чтоб отразить натиск.

Великая мудрость для человека — познать самого себя.

Сегодня пустая рука не добьется того, чего добьется полный карман.

Не гневайся на человека, питающего к тебе зависть, щитом добра укройся от желающего тебе зла, из источника милосердия напой стоящего в луже греха.

---

Афоризмы И. Чавчавадзе переведены по книге Б. Канделаки «И. Чавчавадзе. Лаконизмы». (Издание «Литэратурули газети», 1962 г.).



Судья мне — мой разум да тот маленький бог,  
который зовется совестью.

ЭЛНЗБЗЭЭП  
ЭПЗЭЭПЭЭЭЭЭ

На что нам плуг, который лишь взрыхлит, слегка вспашет землю и не вырвет с корнем траву, что мешает произрастанию семени?

Чем ученнее и образованнее злой человек, тем он страшнее, тем больше вреда он приносит.

Истинное достоинство чужается громких слов.

Протяни руку соседу, объединитесь, работайте вместе, если хотите жить на свете честно.

Дерево не вырастить раньше того срока, которое отмерено природой.

Завтрашний день не должен быть похож на сегодняшний, если для человека прогресс, движение человечества вперед — не пустые слова.

Завтра должно быть лучше сегодняшнего, будущее — лучше нынешнего. Только в этом, и ни в чем другом закон развития и надежды на счастье.

Сабля, грозная и сильная, ничто в сравнении с маленьким кончиком мирного пера.

Древо жизни,—говорит один современный нам философ, — и древо познания произрастают из одного корня, только в разное время они цветут. Когда на древе жизни цветок вянет, на древе познания созревает плод, и семена этого плода обычно порождают новые цветы на древе жизни.

Ум сказал: я заставил жизнь вспахать кручу, собрал семена и засеял пашню, я придал силу немощному, я двигал его рукой.

Доброе дело есть только достоверный знак величия души того, кто это дело творит.



Большое ли, маленькое ли дело — все одно, лишь бы человек обратился к тому, взялся за то, к чему тянется его душа и на что он способен при своих знаниях и даровании.

Удовлетворение, довольство — смертельный враг человека.

Прекрасен пробудившийся человек! Но еще лучше человек, который бодрствует и во сне, обеспокоенный судьбой своей отчизны.

Знание само по себе богатство, притом такое, что чем больше раздашь его, чем больше наделишь других, тем больше богатеешь сам.

Не думаем, что в мире есть что-либо слаще слез, что льются от избытка радости и счастья, и нет горше смеха, когда человек смеется сквозь слезы в несчастье и скорби. Вот этот смех со слезами и слезы со смехом и есть то высшее наслаждение, на крыльях которых подлинное и величайшее искусство человека достигает своей вершины.

Только враг твой умолчит, что тебе следует привести в порядок, друг же тотчас принесет зеркало, дабы ты не осрамился перед людьми.

Прошлая жизнь всего человечества будет бесполезна, если мы не вынесем из нее что-либо полезное для нас.


Солнце не столь способно помочь вымерзшим цветам, сколько теплое слово — удрученному сердцу.

На несчастья соседа собственное счастье не построишь.

Прошлое — пробный фундамент настоящего, как настоящее — будущего.

Жизнь для одного — отец, для другого — отчим.



Жизнь, как и любое живое существо,  растет, цветет, плодоносит и затем вянет; из семени его плода произрастает другая, новая жизнь, которая опять-таки следует по пути своего развития, как и первая.

Знание — что зажженная свеча: если от одной свечи зажечь тысячу других, у свечи не убавится ни пламени, ни яркости, ни живости. Напротив, станет светлее, ибо рядом с одной свечой засверкают тысячи других.

Знание можно сравнить со свечой еще и потому, что, мерцая, даже тускло, где-нибудь в темноте, свеча отпугивает вора, врага: там свет — видно, не спят, а запоздалого друга она привечает: там бодрствуют, стало быть, встретят меня.

На свечу знание не похоже лишь тем, что свеча когда-нибудь сгорит и погаснет; однажды зажженное знание же — никогда. От отца оно перейдет к детям, от детей к внукам, еще более яркое, еще более мощное.

Как бы невежественны ни были люди, стоит убедить их, что беде их можно помочь, и, поверьте мне, все от мала до велика устремятся к вам.

Там, где не разбужена активная деятельность, там и человек и общество в целом бедны и бессильны.

Добром одолей врага своего, остерегайся мщенья кровью: лучше победить великодушием, нежели силой.

Слово — это лишь слово, а не дело. Между словом и делом — огромная пропасть.

Не умрет тот, кто пожертвует жизнь свою народу, мертв тот, кто не оставит о себе памяти.

Вспомнить историю — это значит приободрить, вдохновить народ, помочь понять настоящее и управлять им, уяснить трудности будущего.



Мудрец всегда спокоен — и в радости и в горе.

ЭРМЭСЭМЭН  
ЭНЭМЭНЭМЭН

Хорошего гнезда не ждите от совы.

Люди, впряженные в одно историческое ярмо, боровшиеся вместе, прошедшие через одно несчастье и общее веселье, сильны единодушием и верностью друг другу.

Если сбудется желание, человек уже не помнит о несчастье, как не помнит он о дне вчерашнем.

Наша жизнь — это борьба между добром и злом, и ничего более.

Зачем осуждать мужчину за слезы! И железо ломается, когда бьют по наковальне... Чтобы отличить людей от животных, Бог создал только слезы.

Настоящий мужчина не тот, кто кровь проливает, а тот, кто спасает попавших в беду.

О том, кто на виду, — и добрая молва, и худая.

Кто прославится сам, тот выше того, кому слава досталась от отцов и дедов.

Кто вырастил два зерна там, где раньше вырастало только одно, тот оказывает немалую услугу человечеству.

Кто с ног до головы вымазан грязью, тот не сможет прикоснуться к другому так, чтобы не замарать его.

Сверх меры и хлеб вреден.

Порой и краткое слово кажется долгим.

Обретенная свобода лучше всякого другого приобретения.





Два-три единомышленника среди многих других — это капля в море.

Если замутиен исток, — тщетно искать чистую воду.

Если ты справедлив и человеколюбив — ты полноценный человек.

Если народ беден и не стоит он на пути приумножения материальных благ, — он обессиленный лев, слон без хобота в той острой и беспощадной войне, которая зовется борьбой за существование.

Если время имеет стрелы, ты имей щит.

Если хочешь добыть славы, посади сегодня такой саженец, чтобы будущее с благодарностью сказало: ты принес мне пользу.

Бездействуя, не соберешь урожая.

Тогда ты заслуживаешь похвалы, если возьмешь за правило каждый день спрашивать себя: кому я сегодня принес пользу?

Литераторы в широком смысле слова — это насыпь из зерна умственного, собранного трудом и старанием, в котором есть и чистое зерно и, большей частью, семена плевел.

Хлеб сладок тогда, когда он добыт трудом.

Не гордись тем, что сила соломѹ ломит.

Для умного и мудрого человека хвала в лицо имеет цену гнилого огурца.

Знание само по себе богатство, притом такое, что человек, куда бы он ни пошел, без труда возьмет его с собой, — никто не украдет его, никто не станет на пути. В теперешнее время знание все: и более денег ценится, и более сабли, и сильнее пушки оно.



Только тот труд принесет плоды, основа которого собственная инициатива, собственный почин, а сила — собственная длань.

Пожертвуем собой для спасения отчизны, для ее избавления, если погибнем, она нас не предаст забвению.

Вся прошлая жизнь человечества будет бесполезной, если из этой жизни мы не вынесем ничего полезного.

Пока язык подскажет, ум посоветует, — сердце знает что делать.

Любовь по приказу не приходит.

Учение, знание, наука — такая сила, которой сегодня ничего не противостоит: ни кулак, ни сабля, ни войско.

Правду найти в чужом сердце не легко.

Лучше жить бедно, но с правдой, чем богато, но с ложью.

Не совершайте поступка, если не приведете в действие собственный разум, если не предпослаете ему собственное чувство и если не будете иметь собственного суждения.

Мир принадлежит тому, кто в одной руке держит меч, а в другой — плуг. Правда, меч силен, но век его недолог, если рядом с ним не будет плуга.

Опора страны — лишь умный и сильный человек.

Если каждый свершит столько добрых дел, сколько он в состоянии свершить, на свете не будет несчастных.

Умный человек, будь он и неграмотный, может быть учителем и для книжника.



Если ты плохой человек и бездельник, то, по крайней мере, не ругай доброго и трудолюбивого.

Что не дано сделать в одиночку, легко сделать общими усилиями.

Не будем действовать сами, от других ничего не дождемся.

В какую бы великую беду ни попал человек, единственный путь спасения — присутствие духа и трудолюбие.

Сколько ни меняй змея кожу, все одно змеей останется.

К чему мне сабля, будь она и острая, если не пригупится она в борьбе за правду.

Перевод Валерия АХВЛЕДИАНИ



---

Редакция «Литературной Грузии» выражает соболезнование выдающемуся абхазскому поэту и общественному деятелю Ивану Тарба по поводу трагической гибели его супруги, замечательной драматической актрисы г-жи Этери Когония, последовавшей в результате одной из бомбежек Сухуми абхазскими сепаратистами.

---



Иродион ЭВДОШВИЛИ

## Рассказы

# Ласточка

### Воспоминание


Мои маленькие читатели, я хочу рассказать вам, что приключилось со мною однажды. Я лежал на балконе. Весеннее утреннее солнце радостно улыбнулось мне, когда я, раскрыв глаза, сначала посмотрел туда, где, по- моему, должны были быть мои родители. Однако постель их была уже убрана. Меня это не обеспокоило, я знал — мама и папа в крохотном нашем саду, и сейчас, как почти каждое утро, ухаживают или за фруктовыми деревьями, или за огородом.

Успокоенный, я снова опустился на подушку и залюбовался раскинувшейся передо мной природой. Над балконом шелестел листвою величественный, в белом цвету вяз, под ним переплелись ветвями гранатное и другие фруктовые деревья — будто перешептывались молчаливо, спокойно, сладко! По ту сторону виднелся пушистый лес. В лесу, на вершине хребта — старая церковь. Деревня притихла, будто никто никогда в ней не жил — за работой крестьянину не до разговоров, ведь в деревне весеннее утро — самая отрадная пора.

Итак, я любовался прекрасной картиной. В нее вселяли жизнь и очарование бойкие, проворные воробьи, далекий голос кукушки, удода с хохолком и «мальчик Гоги я» — та самая иволга, которая зачастую подвешивает, словно качели, к ветке дерева свое гнездо и, разряженная в желтый бархат, раскачивает его, приговаривая: «Гогия-яя-яя!».

Помню, какой восторг переполнял меня, когда





там, на вязе, выстраиваясь в ряд, хлопая себя крыльями в грудь и глядя на льющиеся с востока лучи, свистели скворцы, свистели самозабвенно... Радовались жизни, природе, весне. Помню, но лучше бы мне не помнить, как летали ласточки. Некоторые проскальзывали к самому краю небес, и я следил за ними, пока не исчезали они в лазури воздушного простора. Другие соскальзывали вниз и омывали свою белоснежную грудку в маленьком ручейке, журчащем недалеко от балкона. А некоторые, неся в клюве соломинку или травинку, летели к гнездам.

Конечно, мы и на расстоянии могли услаждать слух пеньем скворцов, но, признаюсь, мне хотелось держать их в руках или заключить в клетку.

Зачем? Для чего? Зачем лишать их свободы? Я не отдавал себе в этом отчета. Мне было бы приятно, но каково было бы им? Я не думал об этом.

Я завидовал мелькающим в поднебесье ласточкам, мне тоже хотелось подняться в небо так, как они.

Я пребывал в смятении и тревоге, как вдруг одна из ласточек, раскинув крылья, устремилась к балкону и сквозь распахнутое окно влетела в комнату. Видно, искала место, где свить гнездо.

Миг — и я, вскочив с постели, вбежал в комнату и захлопнул окно. Ласточка сидела на потолке. Мы смотрели друг на друга, и у нас взволнованно колотились сердца. У меня — от радости, у ласточки — от наводимого мной на нее страха.

Я обвел комнату взглядом, размышляя, как бы согнать вниз мою жертву. Заметив на подоконнике свою шапку, я решил воспользоваться ею. Я схватил шапку и швырнул в потолок. Ласточка стремглав бросилась к окну, но, ударившись о стекло, рухнула на пол. Я не успел схватить ее — взмыв, она вновь прильнула к потолку. Склонив головку, ласточка разглядывала меня, стараясь угадать, что я собираюсь с ней делать. Я прицелился в нее шапкой. Она перелетела в другую сторону. Я подкинул шапку, попал в нее — ласточка кинулась к окну, но... напрасно. Долго длился наш поединок, почти полчаса. Ласточка устала. Несколько раз падала она на пол, но, собрав последние силы, ускользала, не давалась в руки. Я видел, как она утомлена. Вот она вцепилась



когтями в стену. Я, запыхавшись от погони, замахнулся шапкой, замер, чтобы хоть немного передохнуть, но не спускал глаз с ласточки. А она смотрела на меня печально и будто спрашивала: «Что надобно тебе от меня? Оставь меня в покое, отпусти!».

Но сердце мое не дрогнуло. Уже собравшись бросить в нее шапку, я заметил, как печаль в ее глазах сменилась злобой и презрением. Разогнавшись, она ринулась мне навстречу, ударилась о мою грудь, о самое мое сердце, и упала. Я схватил ее, обрадовавшись — попалась... Но ласточка была бездыханна. Она была мертва.

Я опечалился. Только теперь понял я, сколь омерзительен мой поступок.

Бедная ласточка! Я довел ее до отчаянья, и она убила себя, убила, ударившись о мое беспощадное сердце. Она не хотела сдаться мне живой и предпочла плену смерть. Я положил ее трупик на подоконник и сел в противоположном углу комнаты. Я раскаивался, но раскаянье мое запоздало.

Не стану скрывать, я ни в чем не признался маме, когда она сказала, что в гибели ласточки виновато закрытое окно: «Бедняжка, наверное, ударилась головой!». Я ни в чем не признался, потому что мне стало стыдно, меня пугало содеянное мной.

С тех пор прошло много лет, но каждой весной я вспоминаю о той ласточке. Вспоминаю с раскаяньем. Никогда не забыть мне, как посмотрела она на меня в последний раз — сначала с печалью, потом — с презрением.

## Помоги, Цискарь!

### 1

— Где он, куда запропастился этот негодник?

— В дом не пущу, куска хлеба не дам!

— Ну погоди, только попадись мне на глаза! — раздавались во дворе угрозы и брань.

Бабушка гневно потрясала костью, дед — посохом, а мать Илы поглядывала то на мертвого цыпленка, которого держала в руках, то — с угрозой — в огород.



Но Ила хорошо знал все укромные уголки во дворе и так надежно спрятался в хворосте, что приведи сюда даже всю деревню, — все равно не сыскали бы его.

А вот в огороде прятаться нельзя, — он обнесен высоким забором с одной-единственной калиткой, и если бросились бы за ним туда преследователи, не миновать беды — застрял бы Ила в калитке.

Впрочем, бабушки он совсем не боялся: ведь случись ей выронить костыль, и она тотчас зовет Илу поднять его. Попадись он на глаза деду, тоже не страшно: где уж поспеть старику за быстроногим внуком! Вот только мать представляла некоторую опасность.

«В дом не пущу, куска хлеба не дам, — бормотал Ила, притаившись в хворосте. — Ну, разве я виноват — прицелился в ноги этому проклятому, а попал в голову!»

Ила был прав: у него и в мыслях не было убивать цыпленка, он хотел лишь испытать новый лук, сделанный дедом, и меткость глаза: «Ну посмотрим, хорошо ли я стреляю в цель...».

Что ж, в цель Ила угодил здорово, и пусть за ним теперь погоня, пусть его и в дом не пустят...

Хорошо еще, что утром, когда снаряжался на охоту, догадался прихватить с собой краюху хлеба, по крайней мере, есть чем подкрепиться, а то, не приведи Господь, остался бы голодным.

— Хоть бы уж отец был дома! — мечтательно думал Ила. Уж отец-то никому не давал его в обиду, и когда вот так, все сразу, восставали против Илы домашние, всегда был верным сторонником сына.

«Сынок, а ну, поищи-ка мою табакерку; не поленись, сынок, сбегай за холодной водой; сынок, глянь-ка, как бы не выщипали гуси зелень в огороде», — сидя в хворосте, передразнивал про себя Ила своих преследователей.

— Как же, сию минуту найду... вот тебе, бабуля, твоя табакерка; а холодной воды тебе сегодня не будет, дедуля; и пусть весь огород дочиста выщипают гуси! — грозился Ила, и хотя во дворе давно смолкли угрозы и не было слышно шагов, он все еще не решался покинуть свое убежище.

Сдел Ила в хворосте и смотрел на лук со стре-



лами, — ох, и хороший же лук смастерил ему дед, вот бы поохотиться с ним по-настоящему!

А что, если... Ну, конечно же... Сбегу! Сбегу к тетке. И меда у нее вдоволь...

Вспомнил Ила тетку, сестру отца, и чуть было громко не огласил свое намерение, — он уже не выдерживал томительного сидения в укрытии. Осторожно высунул голову, внимательно оглядел двор. Дед мирно клевал носом в тени тутового дерева, бабушка крошила цыплятам хлеб, а мать опять села за прялку. Словом, во дворе было относительно спокойно. Преследователи разбрелись и занялись своими делами, лишь Мура бегала по двору, словно только она одна и искала незадачливого охотника.

— Мура, Мура, Мура... — шепотом позвал Ила.

Собака, помахивая хвостом, подбежала к нему. Ила снял с себя ремень, обвязал вокруг шеи Муры, и оба украдкой выбрались со двора.

— Мура, тетя даст нам меду, много вкусного меду, — говорил собаке по дороге Ила, хотя отлично знал, как жадна тетка. Правда, меду у его тетушки — хоть отбавляй, но ни разу не было, чтоб поставила она на стол полную миску. Куда там! Давала ровно столько, что едва хватало пальцы облизать, да еще приговаривала:

— Нехорошо много меда кушать, сынок, вредно...


Но делать было нечего. Домой возвращаться нельзя: хочешь-не хочешь, а надо идти к тетке. Только вот беда, дорогу он позабыл, помнил лишь, что она идет лесом, потом сворачивает направо, а там, на пригорке, стоит дом тетки, и в огороде пчелиные ульи.

## II

— Мура, поохотимся немного, тут много дичи, — сказал Ила, когда они приблизились к лесу. Собака, разумеется, не возражала и, спущенная с поводка, затрусила к лесу.

А наш охотник приготовил лук, плотнее нахлобучил на голову шапку и бесшумно стал красться к дереву, откуда слышались возня и щебет. Кое-как дополз до ствола, наложил стрелу на лук, прицелился в птицу, которая сидела поближе, натянул тетиву и





спустил стрелу. Птицы с гомоном перелетели на другое дерево, а стрела... стрела упала на землю.

— Уничтожу, разорю!.. Не буду я мужчиной, если не укрою вас как цыплят! — грозно проговорил Ила. Но тщетно гонялся он за птицами. Удача ни разу не улыбнулась маленькому охотнику. Сколько ни стрелял Ила — все мимо. Подводило непослушное сердце — каждый раз, когда мальчик натягивал тетиву, оно начинало бешено колотиться, да и птицы не подпускали его так близко, как цыплята.

Обессилел, устал Ила, гоняясь за ними. Солнце уже склонилось к закату, когда он вспомнил о своем намерении идти к тетке, но, увы, ему уже не удалось найти дорогу, ведущую из лесу.

Повернет Ила в одну сторону, пробежит некоторое расстояние, а лес не кончается, тропинки нигде не видно; повернет в другую, — опять все тот же лес и деревья, мимо которых только что проходил. «Что делать? Они все так похожи одно на другое», — с тоской думал Ила, и пот ручьями струился по его лицу.

В лесу, между тем, совсем стемнело, похолодало, таинственно и мрачно зашелестели окутанные туманной дымкой кусты и деревья.

...Щелканье дрозда, залиvistые трели соловья, неутомный щебет и голоса тысяч птиц слились воедино. Но Иле уже было не до птиц. В его сердце медленно закрадывался страх...

— Мура, Мура, — звал он собаку, стараясь звуком собственного голоса успокоить себя. Но Мура давно нашла дорогу домой и теперь резво носилась по двору с поясом Илы на шее.

### III

— И куда подевался этот проказник?! Хоть бы уж водицы холодной принес вечером! — проговорил дед, постукивая посохом, и едва не споткнулся о Муру — глаза уже стали подводить старого...

— И все ты виновата, что мальчик потерялся! Даже табак сегодня по-человечески не нюхала, — табакерка тысячу раз пропадала! — упрекала бабушка невестку.



— Ну, нет, дорогие, сами гонялись за ним с костылем да посохом, а теперь меня корите? — возразила мать Илы свекрови и свекру.

Она и сама уже начала беспокоиться, тем более после того, как заметила на шее Муры ремень Илы.

— Не заблудился бы, не заснул бы в лесу, как бы, храни Бог, змея не ужалила, — думала женщина и, порасспросив соседей, поспешила к лесу. За ней семенила бабушка, за бабушкой дед, за дедом Мура. И вот за околицей все вместе принялись искать и звать Илу.

А Ила в это время отчаянно боролся с лесом, боролся со страхом... сердце то и дело комком подкатывало к горлу — вот-вот брызнут слезы; не видно было и Муры... Лес все больше и больше погружался во тьму, тишину нарушали лишь звонкие трели соловья.

Мальчик собрал последние силы, повернул направо, немного призадумался, посмотрел разок-другой на обступившие его деревья, будто что-то припоминая, и ринулся вперед.

Идет Ила, упрямо продирается сквозь цепкие кусты, а сверху смотрят на него разлапистые черно-зеленые деревья. Ила не оглядывается по сторонам, он боится... Он идет все вперед и вперед, и лес постепенно редет, большие деревья попадаются все реже; путь теперь преграждают колючие заросли, такие густые, что Ила с трудом раздвигает их. Еще немного, и он оказался перед совершенно непроходимым кустарником. Отступить некуда, надо пробраться как-нибудь. Ила решительно двинулся вперед, как вдруг кто-то схватил его сзади за подол ахалухи.

— Караул!!! — не своим голосом завопил Ила и, перекувыркнувшись через голову, очутился по другую сторону кустов, на берегу ручья, как раз на том самом месте, где их Цискара, насытившись сочной травой, жадно припал к студеной воде, прежде чем отправиться домой. Ила едва не напоролся на рога Цискары. Цискара не спеша повернул на шум шею и уже собрался было идти своей дорогой, когда Ила схватил его за хвост.

— Помоги, Цискар, помоги, дорогой, — жалобно просил Ила, напрягая последние силы, держась за



хвост быка. От сердца немного отлегло. В этот момент хвост Цискары был для Илы дороже всего на свете: охоты, лука со стрелами, теткиного меда...

Бык разогнался было, но когда почувствовал, что никакая опасность ему не грозит, степенно направился к дому.

— Помоги, Цискар, — бормотал Ила и брел за быком, крепко вцепившись в спасительный хвост.

А Цискара важно шествовал по деревне, ведя домой своего маленького хозяина, на спине которого болтался вырванный колючкой клоч ахалухи...

## Чертова веревка

Всякий раз, чуть наступала полночь, начинал этот окаянный у нас на огороде мяукать, лаять, завывать по-волчьи. Ну, конечно, люди сразу догадывались, что это он. Выносили зажженные головешки и швыряли в него.

«О-о-о-о-ой, — неистово выл нечистый. — Помоги, Сосиа!»


Не раз собирался откликнуться дед мой на зов, но терпел, сдерживался. А однажды не выдержал, отозвался: «Не бойся, иду-у!». Но бабушка моя не выпустила его из дому, хотя и был дед Сосиа бесстрашен и непреклонен. Не зря ведь говорят: если десять упряжных быков тянут в одну сторону, а женщина в другую — женщина перетянет. Не давала бабушка деду выйти на его зов, не пускала, и все тут.

Но однажды бабушка моя — славная она была женщина, царство ей небесное — занемогла, да так, что вспомнили о ворожее. Пошли к ней, а та просто провидицей оказалась. Возьми да и скажи сразу: «Нечистая сила покой вашего дома смущает...»

«И как это ты додумалась?» — усмехнулся дед. А уж кому, как не ей, было знать, что вытворял по ночам этот разбойник у нас на огороде.

«Проглоти вот это», — прошамкала вещунья и протянула деду черный камешек: «Да осенит тебя благодать святого креста и да пребудет над тобой милость на кресте Распятого. Чур, чур тебя, не страшен тебе черт!» — пробормотала старуха и отослала





деда домой. И вправду... теперь, после заговора, черт был бессилен.

Только слышался в ту ночь его вой, дед осенил себя крестом и кинулся в огород — на этот раз бабушка не смогла остановить его. Тут-то, у самого ручья, и повстречался ему этот негодник. «Чур меня, чур!» — мигом крикнул дед. И словно дитя малое, заплакал, зарыдал окаянный. Скрючился, съежился. Замахнулся дед, а тот ну его молить: «Только не убивай меня, а я тебе верным слугой буду!»

Смиловивился над ним дед, не поднялась у него рука, и привел он его в дом. Рассмотрел на свету — черт! Настоящий черт! Глядит на него дед, и — о, чудо: черт то поросенком завизжит, то медведем заурчит, то клубком свернется, то когти выпустит, длиннющие — с аршин!..


«Когти ему обрежь поскорее», — велела бабушка. Вот умная женщина была, все чертовы повадки знала! Дедушка одним махом отсек ему топором когти, и стал черт с того дня таким послушным да покладистым, что лучшего слуги и не сыщешь. Никакой зверь стал стаду не страшен. Выведешь в ночное скотину — а с нее и волосок не упадет. И бабушку мою он вылечил: в тот же день поднялась она с постели, будто и не хворала вовсе. Все знал, все умел этот разбойник. Он и бабушке сразу пришелся по душе. «Ох и хитрец, — говаривала она не раз, — мертвеца, и того двигать заставит».

Прозвали того черта Неслухом — все-то он наоборот делал. И приказывать ему надо было наоборот. Хочешь, чтобы он воды принес, вели ему: «Неслух, разбей кувшин», надо двор подмести, скажи: «Неслух, перекопай двор», — и не останется во дворе ни пылинки; надо в очаге огонь развести, прикажи: «Неслух, сожги дом», — и вмиг запыляется в очаге пламя.

С тех пор не знал мой дед ни страха, ни боязни, да и кого ему было бояться, коли сам черт был у него в услужении. Даже в полночь разгуливал дед по дремучему лесу спокойно, как ясным днем.

Появился в доме достаток — прибавилось овец в овчарне, коров в хлеву, амбар наполнился хлебом, а в марани столько вина стало — как ни отливай из квеври, все не убавляется. И все это проделывал наш





Неслух. Вся деревня нам завидовала. «Везет же Сосиа», — говорили вокруг, и только головами покачивали. Никому невдомек было, что все это дело рук нечистого. Невидимым оставался Неслух для всех, только бабушке с дедушкой показывался.

И вот однажды созвал дед гостей на крестины сына — это отца моего. Пригласил и попа с дьяконом, и старосту... Да и кого только там не было. Народу собралось видимо-невидимо. Что ж, еды и питья было теперь у деда вдоволь — на всех достало.

А перед тем, как гостей в дом вести, отслужили молебен и покурили ладаном в комнатах и в марани. Бог мой, что тут стало с Неслухом. Затрясся он, задрожал всем телом, заскрежетал зубами: «Неслух, сожги дом», — разожги, мол, очаг, — шепнул ему на ухо мой дед, а сам гостями занялся. Знал он — Неслух и без него управится. И впрямь, сам собой накрылся стол, и было на нем все, чего только душенька пожелать может. Ну и ели в те времена! Свежий, сдобный лаваш, куриная чихиртма, индюшати́на, говяжья хашлама, баранья каурма, сациви и, что и говорить, вино, да какое вино: брызни в огонь — вспыхнет искрами. Стол так и ломился, только налетай. А тамадой был сам хозяин. И пошел пир горой — рог за рогом, блюдо за блюдом, песня за песней. Пировали до полуночи. А в полночь одни поплелись домой, а другие там же, за столом захрапели. Уснул и дедушка.

«Сосиа, эй, Сосиа, спасайся, друг!» — услышал юн вдруг сквозь сон. «Не иначе, как Неслух мой дурачится», — подумал дед и снова уснул. Но кто-то цепко схватил его за ногу и стал тащить из дому. «Неслух, держи меня», — сквозь сон пробормотал дед: оставь меня, дескать, в покое.

«Что ты мелешь, какой еще неслух? Сам ты неслух! Или тебе жизнь не мила? Вставай, тебе говорят, да спасайся поживее».

Едва успели растормошить спящих гостей, выхватить из колыбели моего отца и вывести во двор деда и бабушку, как рухнула крыша дома. Загорелся, запылал наш дом и, если бы не соседи, так и сгорели бы все, кто был внутри.

«Неслух, зажги огонь, зажги огонь!» — кричал



мой дед: — потуши, мол, огонь, Неслук! Но где там,  
— Неслуха только и видели.

«Ума решился, несчастный, кругом пламя бушует,  
а ему еще огня надо», — недоумевали соседи.

Все дотла сгорело, и остался мой несчастный дед  
ни с чем. Эх, поздно догадался он, чьих это рук дело  
— сжег дом черт окаянный и исчез...

Вот так оно бывает, когда человек с чертом якша-  
ется! Обнищала наша семья, и пошли мы гнуть спину  
по чужим дворам. Отец мой на этой мельнице сос-  
тарился, такова, видать, и моя судьба.

\* \* \*

Старик умолк и печально уставился на белый от  
мучной пыли потолок, казалось, он впервые сегодня  
его увидел.

— Хитер же был ваш Неслук, — сказал, помол-  
чав, Цецо и взглянул на старика — не добавит ли тот  
еще чего-нибудь.

— И не говори... Возвысил, одарил богатством, а  
потом, глядь, сгубил не за понюшку табаку...


— И не встречался он больше тебе или твоему  
деду?

— Где там, — усмехнулся старик. — Посмел бы  
только показаться мне этот погубитель. Но люди го-  
ворят, будто слоняется он ночами по огородам да по  
берегу ручья...

...Так проводили долгие зимние вечера старый  
мельник и его маленький друг Цецо, сын вдовой сосе-  
дки. Болтали и лакомились вкусной, хрустящей, тут  
же изжаренной кукурузой. Старик рассказывал свое-  
му единственному слушателю и собеседнику не толь-  
ко о своих злоключениях, но и о стародавней жизни,  
обо всем, что случалось в их деревне, чему свиде-  
телем был он сам или слышал от людей. Знал Боро и  
чудесные сказки, басни и стихи... а на пандури играл  
он так, что и буйвол пошел бы в пляс. Цецо, конечно,  
предпочитал, удобно устроившись у очага, слушать  
размеренные речи старика, чем дрожать на дворе от  
холода.

И старику с ним было не так одиноко. Но дивил-





ся Беро — какую бы страшную историю он ни рассказал, и тени страха не мелькнет на лице мальчика. А ведь сам старик не раз содрогался от ужаса. «Он будет таким же бесстрашным, как мой дед, этот малец», — думал Беро, радуясь, что у него такой храбрый товарищ. Дружба их крепла день ото дня. Скоро старик так привык к Цецо, что без него не взял бы в рот и крошки хлеба.

Миновала зима. Наступила весна. Цецо уже не тянуло на мельницу. Не привлекал его больше шум мельничных жерновов... Он весело резвился на пестром ковре из душистых цветов, прислушиваясь к веселому говору ручейка.

К старику Цецо стал ходить через день, а потом все реже и реже, и вскоре почти вовсе исчез — хорошо, если заглянет на мельницу раз в неделю.

Старый Беро никуда не выходил с мельничного двора. Только поднимется иногда вдоль ручья — посмотреть, все ли в порядке, не прорвало ли плотину, почистит русло ручья и сидит с утра до вечера в тени беседки — наигрывает на пандури или, позевывая, дремлет, пригревшись на солнышке.

— Куда это ты запропастился? — корил он маленького друга, когда тот появился на мельнице.

— На огороде возжусь, дедушка, на огороде! Вот погоди, такими огурцами угощу, каких ты и во сне не видывал... Чего только я не посеял: арбузы, дыни, горох, подсолнечник — все есть.

— Ох и опостытели мне эти огороды. Вот возьму раз да и перекопаю их все, какие ни есть на берегу ручья. Никак не оставят из-за них воду в покое.

— Что делать, дедушка, засуха одолела. Не полей вовремя, высохнет все, — отвечал Цецо смиренным тоном.

— Высохнет! Мне-то что за дело, что высохнет!.. А послушайте моего господина! «Лентяй, говорит, ты, Беро, ручей обезводел, мельница почти не работает, доход упал. Не годится так, Беро!». Побыл бы он в моей шкуре, только и бегаю целый день вверх-вниз, вверх-вниз, пыхчу, ровно твой пароход, а толку-то — десять копеек на день. Только прилягу в тени, закрою глаза — слышу, мельница стонет, да так жалобно... Эт жары это, думаю, горло у нее пересохло, того гля-



ди, Богу душу отдаст! Вскочу, пройду вдоль русла, смотрю — бежит, растекается вода, да все по огородам. А мельнице что остается? Бык языком слизнет. Как же ей, бедняге, работать? Но попробуй, скажи — вся деревня против тебя ополчится. Воды, скажет, старому жалко. Вот и подумай сам, как тут быть? Тот кум, этот сват... Но погодите, и моему терпению конец придет: разозли овцу, и она волком станет.

Жалуется Беро на горькую свою долю, ворчит, а слушать его никто не слушает: Цецо давно и след простыл...

Прав был Беро, но прав был и мальчик: стояла жестокая засуха, и все бы сгорело дотла, не отводи люди воду с мельницы... И началась борьба. Шла она, в основном, между Беро и Цецо, потому что огород Цецо вплотную примыкал к мельнице. Не раз видел старик, как прорывал мальчик канаву к своему огороду.

— Эй, кума, приструни своего сорванца, не вели ему отводить воду. Мешает он мне: вишь, стала из-за него мельница. А не то, клянусь Богом, не посмотрю, что мы соседи, пожалуюсь господину, а уж там как знаете, — грозился Беро.

— Что мне делать, дорогой кум. Я запрещаю, да он-то не слушается, своевольничает. Не губи ты нас, погоди маленько, — урезонивала старика вдова, радуясь в душе прыти и трудолюбию сына.

Все сильнее палило солнце, и все жарче разгоралась борьба. Если Цецо не удавалось отвести воду днем, он проделывал это ночью. Но и Беро не зевал. Он стал подкарауливать мальчика. Огород зачах, гибли огурцы, арбузы, дыни... «Нет, так продолжаться не может, надо что-нибудь придумать», — решил Цецо. И тут он вдруг вспомнил про Неслуха, в которого так верил старик... «Теперь-то я знаю, как быть...» — обрадовался мальчик и принялся за дело.

\* \* \*

Миновал час ужина, когда Беро, вскинув на плечо мотыгу, двинулся, как обычно, вверх по ручью, мелькавшему в просветах буйно разросшейся по бе-



регам высокой травы и потонувшему в тени густо переплетшихся меж собой ветвей фруктовых деревьев. Беро здесь прошел бы с закрытыми глазами, и все-таки, стоило ему ступить на эту темную извилистую тропку, тотчас ему вспоминался Неслук. Беро бодрится, но правая рука у него наготове, чтоб успеть в случае чего перекреститься.

Идет наш Беро... Идет медленно, опасливо раздвигает лохматые ветви — поглядывает на огороды. Кругом тьма, хоть глаз выколи, ничего не видно, лишь по слабому журчанию можно догадаться, куда отведена вода. «Ах, негодник», — бормочет Беро и, водя ногой в иле, старается наскрести запруду, как вдруг...

«Чур меня, чур!» — крикнул бедный старик, поспешно крестясь, и тут почувствовал, что кто-то тащит его за ногу. Попробовал освободиться — да не тут-то было. Взглянул — и обмер: грязная, вся в узлах веревка крепкой петлей обхватила щиколотку.

— Помогите-е-е-е! Люди-и! — завопил он срывающимся голосом и бросился в сторону мельницы.

Тем временем кто-то вылез из густых зарослей и, разрушив запруду, снова отвел воду в свой огород. Это, конечно, был проказник Цецо.

...Забрезжил рассвет. Беро, еще взволнованный ночным происшествием, окликнул вдову.

— Эй, кума! Коли хочешь добра своему сыну — немедленно ступай к гадалке, пусть отвратит беду от вашего дома.

— Что случилось, дорогой кум? Какая еще беда нависла над моим сыном? — не на шутку встревожилась вдова.

— Что случилось, спрашиваешь? А то, что напрасно я твоего сына виню — это нечистый тут хозяйничает, из-за него и гибнет мельница. Вот послушай: иду это я вчера вверх по ручью, темно, ни зги не видно. Только подошел к вашему огороду, как вдруг кто-то хватить меня за ногу и ну тащить. Хорошо еще, успел перекреститься, не то затащил бы меня окаянный в преисподню. Мало ему, что семью нашу разорил, теперь, видать, решил за меня приняться, пропади он пропадом. Не веришь? Вот погляди — верев-



ку оставил, — и Бери протянул вконец перепуганной вдове грязный обрывок веревки.

— Да что ты мелешь, кум? Ведь это моя веревка, я ею индюка привязываю — повадился в огород, вот я и решила его проучить, — облегченно вздохнула вдова.

— Окстись, какой там индюк, когда сам черт меня за ногу тащил, — его это веревка...

— Да Бог с тобой, Бери! Мне ли своей веревки не узнать?

— Как, разве ты не видишь, что веревка не человеком, а чертом свита? Смотри, какая петля! А узлы... — продолжал упорствовать мельник.

— Не чертом она свита, а моим сыном Цецо. Распорол старую ноговицу и свил.

— Цецо? — Старик взглянул на лукаво улыбающегося мальчика, и тень подозрения пробежала по его лицу. Тут Цецо не выдержал и расхохотался.

— Так, значит, это твои проделки, плут ты этакий! Смеяться вздумал над стариком, напугать захотел? Не удалось, брат! Просто подумалось, а не чертова ли это веревка, может, и впрямь, снова объявился у нас этот окаянный? — смущенно оправдывался Бери.

А Цецо и его мать, не в силах остановиться, всю хохотали, глядя на злополучную веревку...



## ХРОНИКА

15 июня в Сухуми в ходе встречи начальника управления экстренного реагирования ГКЧС России генерал-майора Кудинова, командира 2-го армейского корпуса генерал-майора Угадзе и заместителя председателя автономной республики Абхазия господина Гвасиани достигнуто принципиальное соглашение по приему и доставке гуманитарного груза в Ткварчели.

16 июня в Москве начались консультативные встречи рабочих групп по урегулированию конфликта в Абхазии. В повестке дня стояли следующие вопросы: сроки и порядок консультативных встреч; полномочия рабочих групп; прекращение огня и поиск временного механизма его контроля; основные принципы переговоров; проект договоренностей о принципах полномасштабного урегулирования вооруженного конфликта в Абхазии.

[продолжение на стр. 218].





Прогулка  
в  
октябре

О город, строгий и прекрасный —  
Созданье вечное Петра,  
Твой вид незыблемый и ясный  
Невы венчает острова.

Как Летний сад в октябрь прекрасен,  
Как нежен, несравненно тих.  
В нем пруд чарующе неясен,  
И просится из сердца стих.

Литой узор его решеток,  
Как будто кружевной ажур.  
Как день осенний твой короток,  
Как сказочен листов пурпур.

А статуи Эллады древней  
В тени под липами стоят,  
И сквозь листвы покров осенний  
На нас из древности глядят.

В каналах чистых отражаясь,  
Дворцы поднялись над водой,  
На них глядишь, не отрываясь,  
Заворожен их красотой.



Их фриз рельефами украшен,  
Полуколонны у окон,  
А выступы трофейных башен  
С боков украсили фронтоны.

Цветов гирляндами играя,  
Амуры резвые летят,  
Плечами портик подпирая,  
Титаны мощные стоят.

Глядят на набережную властно  
Грифоны, пасти приоткрыв,  
И на дыбах стоят безгласно  
Все кони буйные, застыв.

И как прекрасна, величава  
Нева в гранитных берегах  
Прибрежных сфинксов отражала  
В тот тихий день в своих водах.

Мосты Неву пересекают,  
Глядят русалки с фонарей.  
И нас по сей день поражает  
Гармония картины всей.

Февраль, 1993 г.



Тамрико Апакидзе всего лишь 9 лет. Уроженка Тбилиси, она учится в 6 классе грузинской школы, а стихи, которые сопутствуют ей чуть не с младенческих лет, пишет на русском языке. Тамрико увлекается литературой, а также рисованием, свидетельством чего — иллюстрации к собственным стихам, которые мы и представляем нашим читателям.



Цветы изящны и нежны,  
Их лепестки чуть приоткрылись  
И негой утренней полны.  
Не здесь на свет они явились, —  
В горах суровых рождены.

С скалы над бездною крутой  
Привес их путник ранним утром,  
Сорвав наездника рукой.  
Заметил их в тумане мутном,  
Был очарован их красой.

«О, где ты, родина в горах,  
Над пропастью полет орлиный,  
Вершины синие в снегах?  
О, где ты, где ты, край пустынный,  
Застывший будто бы в веках?

Где летний ветер, что крапил  
Листы подоблачной росой,  
И рев пантеры доносил?  
Где тот ручей, что нас водою  
Своей студеною поил?

Осталась там одна из нас  
В расщелине скалы далекой,  
Тоскует, бедная, сейчас».  
Но и при жизни одинокой  
Счастливее она всех вас!

В мороз суровый, в дождь и в град  
Она все ж жизнь свою продолжит  
Среди архаров горных стад.  
А может быть, она заложит  
На той скале и дикий сад.

Букет поникших бледных роз  
Стоял в графине на балконе,  
Вся высохла роса из слез.  
И на закатном ярком фоне  
Так грустен вид уснувших грез.

Апрель, 1993 г.





## К Музе

Не знаю я, о чем писать...  
О Муза, где ты, где ты затерялась?  
Приди ко мне, приди опять,  
Давно тобою я не наслаждалась.

Тебя мне ветер приносил  
Не раз зимой холодной, вечерами.  
Но ветер стих, и я без сил,  
Ни строчки не пишу я месяцами.

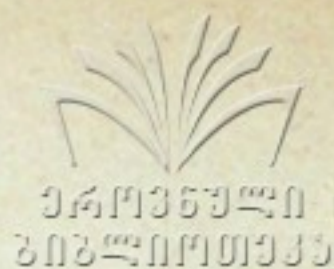
Где, Муза, мне тебя найти?  
Средь горных скал? Иль на вершинах снежных?  
Туда к тебе мне не дойти  
И не настичь тебя в степи безбрежной.

Я знаю, любишь посещать  
Ты берег моря, волнами омытый,  
Зеркально-трепетную гладь  
Озер лесных, кувшинками покрытых.

Средь звонкой горной тишины  
Тебе мил грохот шумный водопада,  
Во время нежной же весны —  
Благоуханное цветенье сада.



Но не доступно это мне.  
Пошли же так, о Муза, вдохновенье.  
Иль наяву, или во сне  
Явись ко мне, услышь мое моление!



Июнь, 1993 г.



Ночь

День пестрый, яркий был недолог.  
Окутал землю ночи полог,  
Замкнулась черная завеса,  
Темнеют очертанья леса,  
Чернеют доли и холмы.  
Днем — все заботою полны,  
Сейчас — покоем все забылось.  
Гора в тумане растворилась,  
Совы лишь слышен редкий стон,  
Земля вся погрузилась в сон...  
Луна взошла на небосвод,  
Мерцая между черных вод.  
На небе мрачном и бездонном  
Звезда блестит огнем холодным...  
Но вот померкло звезд сиянье,  
И замерло совы стенанье.  
Явилась нежная Аврора  
И светом залила просторы,  
В нем тотчас растворилась тень.  
Так зародился новый день.

Октябрь, 1992 г.





## Колокола тридцатых...

Одним из главных событий тридцатых годов стало, конечно, завершение формирования немецкого фашизма как идеологии и государственной структуры. Это можно отнести ко времени поджога рейхстага и процесса над Георгием Димитровым. К власти пришел Гитлер и его национал-социалистическая партия. Тем самым в начале тридцатых годов определились два главных, основных участника мировой войны, дыхание которой уже ощущалось всеми с грозной неотвратимостью. Стало очевидным истинное лицо двух противостоящих друг другу идеологий. Хотя некоторые историки сегодня утверждают, что Сталин тогда еще не верил, что главная опасность России грозит именно оттуда, по инерции опасаясь угрозы со стороны Англии или Франции. Весь мир в те годы готовился к новой войне — Второй мировой. Активно участвовал в подготовке к новой всемирной схватке и Советский Союз. Вполне понятно, что в этих условиях особое внимание уделялось тому, чтобы создать соответствующий авторитет во всем мире и, особенно, в своей собственной стране, будущему Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами государства. Об этом неустанно заботился не только он сам, но и все его окружение. Да, именно все без исключения руководство страны и партии всячески способствовало созданию и упрочению культа личности. Иначе, они недолго могли бы остаться в этом руководстве!

Исходя из этого, можно признать весьма близким к исторической правде свидетельство о том, что познакомившись с книгой К. Е. Ворошилова «Сталин и Красная Армия», главный герой этого ценного исторического исследования не мог удержаться от смеха: ведь все успехи Красной Армии в гражданской войне, как, впрочем, и сама организация армии, приписывались Сталину.

---

Окончание. Начало в № 4—5.



Все это не могла не замечать, а, заметив, не воспринимать особенно болезненно старая большевистская гвардия, на своих плечах вынесшая и годы подполья, и революционный переворот, и сражения гражданской... Поэтому не случайно, что именно она ощутила на собственной шкуре первые удары репрессий роковых тридцатых годов — их подвергали «административным наказаниям», против них применяли «профилактические меры». На плахе преступных расправ первыми пали головы старых большевиков.

Пороховой дым приближающейся войны донесся до Советского Союза отголосками гражданской войны в Испании. Тогда в стране всячески пропагандировалась концепция молниеносной победы над врагом; военные действия, уверяли наших сограждан, будут вестись на вражеской территории. Так что вовсе не случайно наша страна оказалась в самой гуще событий Второй мировой войны. Отмечу здесь, что именно в связи с событиями в Испании впервые в мировой истории появилась новая форма вмешательства во внутренние дела иностранных государств, с привычным для нашей фразеологии лицемерием окрещенная «выполнением интернационального долга».

Гражданская война в Испании, одно из ключевых явлений мировой политики в тридцатые годы, сегодня, полвека спустя, может быть, и не вспоминалась бы никем, кроме самих испанцев, если бы не знаменитый роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Война в Испании как бы случилась только для того, чтобы от нее осталось это замечательное явление искусства. Хотя в те годы во всем мире и, разумеется, в Советском Союзе, было создано немало других произведений об Испанской войне, — и художественных и документальных, — в том числе и произведения Михаила Кольцова и Ильи Эренбурга, чей талант не подлежит сомнению.

Да, их перьям никак нельзя отказать в мастерстве, но прошли годы, и не такие уж долгие, если судить по масштабам истории литературы, и выяснилось, что многое они изображали искаженно, необъективно, поддавшись неизбежному прессу советской идеологии. Именно такой аберрации подвергся в их интерпретации образ одного из главных героев гражданской войны Андреса Марти. Его личность, его характер и поступки у Хемингуэя предстали совсем иными, чем представляли себе в свое время мы, под влиянием одностороннего изображения наших источников.

В разработке этой злободневной и активно подогреваемой



всеми способами темы активное участие приняла и грузинская литература. И мы выполнили свой «интернациональный долг» — выпустили небольшой поэтический сборник, посвященный Испании, хотя никто из его участников, конечно же, не был непосредственным очевидцем происходивших там событий.

Возглавил это начинание, как сейчас помню, Паоло Яшвили. Он заказал стихотворение и мне, и я откликнулся на его предложение стихотворением «Испанскому бойцу». В те годы на устах у всех звучали имена командира республиканцев Ларго Кабальеры, лидеров фашистского путча генерала Франко и генерала Моллы, бойцов-интернационалистов и их героического командира генерала Лукача.

Генерал Лукач, если память мне не изменяет, в 1930 или 1931 году приезжал из Москвы в Тбилиси. Тогда он был известен просто как венгерский пролетарский писатель Матэ Залка, нашедший в Советском Союзе политическое убежище. В Тбилиси он приехал в составе делегации из центра на один из пленумов Грузинской ассоциации пролетарских писателей, на котором рассматривался вопрос о создании в Грузии отделения недавно организованной тогда Литературной организации Красной Армии и флота («ЛОКАФ»). Вместе с ним в составе делегации находился еще один писатель-эмигрант китаец Эми Сяо. Оба были включены в состав делегации по собственной просьбе, так как мечтали побывать в Грузии. Матэ Залка был человеком живым, веселым, простым и непретенциозным. Кто бы мог подумать тогда, что уже через пару лет он завоюет себе славу отважного воина-героя не только в Испании, но и во всем мире. Матэ Залка — генерал Лукач пал смертью храбрых на той войне, и эта наша встреча оказалась первой и последней. А с Эми Сяо мне довелось встретиться еще раз, в Китае, в 1957 году, на праздновании 10-летней годовщины Китайской революции.

Здесь уместно вспомнить имена двух известных грузинских поэтов — Иосифа Гришашвили и Александра Абашели. В процессе политизации нашей поэзии в те годы два этих граждански активных поэта сыграли весьма заметную роль. В своих стихах они одними из первых взяли курс на реалии советской действительности. Григол Робакидзе много лет спустя свое «Обращение к грузинским писателям», присланное из-за границы, начинал такими словами: «Писатели Грузии! Вы, должно быть, не забыли, как Гришашвили в одном из своих стихотворений воздал хвалу Лаврентию Берия. В своих дифи-



рамбах он дошел до того, что даже договорился до <sup>до</sup> ~~неслы-~~ <sup>свои</sup> ~~ханныго~~ <sup>воды</sup> кощунства: «Повелите, и Кура понесет свои воды». Кура продолжает по-прежнему нести свои воды. Повелителя же сопроводили на тот свет так, что из нашего обихода напрочь выкорчевано даже упоминание его имени. Должно быть, Гришашвили сейчас кусает себе пальцы, возглашая: «Господи! Что заставило меня написать подобное непотребство?!» А я вам скажу: заставила тогдашняя атмосфера, господствовавшая вокруг!»

Не станем повторять здесь подобные обвинения, которые можно адресовать почти всей тогдашней грузинской литературе (сегодня об этом пишут более чем часто). Сам Григол Робакидзе, которого, как читатель убедится, в этих своих воспоминаниях я неизменно поминаю с величайшим уважением, тоже мог бы вспомнить в своем творчестве тех первых лет и десятилетий немало такого, за что потом ему было, по крайней мере, неловко! Наблюдая за происходящим у нас в последнее время, в эпоху грандиозных перемен и переоценок, о каких даже он, Григол Робакидзе, не мог бы и мечтать, он нашел бы немало написанного его пером, за что и ему пришлось бы «кусать себе пальцы». Вспомним лишь некоторые из его тогдашних статей, написанных со свойственным ему блеском и получивших тогда же широчайшее распространение. В них, среди прочего, можно обнаружить такие высказывания: «Каждый, испытавший, что такое: Свобода — Свержение рабства — Возрождение человеческого достоинства — Обновление страны — Становление нации, — не может не обратиться к имени Ленина, невзирая ни на какие партийные разногласия и программы».

И дальше — фраза, которая была в те годы на устах у многих грузинских интеллигентов, тем более, почитателей Григола Робакидзе: «Возвещая миру о смерти Ленина, радиоволны, наверное, распространялись в эфире не так, как всегда. Не думаю, чтобы где-нибудь был человек, которого бы кончина Ленина не потрясла до глубины души». (Что заставило его написать это? Господство царившей тогда повсюду атмосферы?).

Григол Робакидзе, по всей вероятности, мог бы предвосхитить в своем воображении многое из происшедшего у нас в эпоху «перестройки», «гласности и демократизации». Но разве мог он вообразить, что во всем мире станут крушить памятники Ленину? Ведь тогда все мы считали его поистине вечным, поистине бессмертным!



Как выясняется, во все времена существуют бунтари, которые знают лишь одно — постоянно находиться в оппозиции. «Вечные оппозиционеры» назвал их Короленко, и это тоже очевидно, — что в случае победы они не в состоянии сделать ничего позитивного, конструктивного.

Это ясно всем.

Бунтарство само по себе еще не дает права считаться настоящим, профессиональным политическим деятелем. Видно, у таких профессиональных политических деятелей должно быть не только неприятие и отвращение к прошлому, не только жажда разрушения старого, но, помимо того, и четкая собственная конструктивная программа созидания строительства нового.

Существует версия, что книга «Из истории большевистских организаций Закавказья» была, по инициативе и под руководством Малакия Торошелидзе, написана группой научных работников Тбилисского университета. Нет, с неменьшей убежденностью возражают другие, эту книгу сочинили по заданию Агитпропа Грузинского ЦК несколько молодых партийцев, не скрывавших восторженного отношения к послереволюционной деятельности Сталина, — по молодости лет они не могли быть очевидцами подпольной работы партии в дореволюционные годы. Я склонен поддержать вторую версию, поскольку Малакия Торошелидзе, как и другие старые большевики, непосредственно участвовал в тогдашней нелегальной деятельности партии и вряд ли пошел бы на подобную фальсификацию истории.

Зная биографию и характер нового Правителя, каждый думал только об одном: прощай, демократия! Вскоре в Тбилиси начались тайные пересуды о том, что между новым грузинским Правителем и Серго Орджоникидзе пробежала черная кошка. Хотя до того они считались ближайшими друзьями. Именно это обстоятельство оказалось для грузинских писателей роковым, и первой жертвой среди них оказался Григол Робакидзе.

В 1931 году Григол Робакидзе отправился в Берлин, как всем было известно, благодаря содействию Орджоникидзе. (Он уезжал так же, как, скажем, Федор Шаляпин или Марк Шагал, — не помышляя об эмиграции, сохранив советское гражданство). В 1962 году, в апреле, на мое имя в Союз писателей Грузии пришло большое письмо от Григола Робакидзе, которое впоследствии было опубликовано в парижском грузин-



ском журнале «Кавкасион», а затем, пару лет спустя, перепечатано и в нашей литературной газете. Григол писал мне: «В 1931 году, в дни триумфальных гастролей театра Руставели в Москве, я по одному своему делу посетил Орджоникидзе». Насколько мне известно, по тому же вопросу они с Орджоникидзе встречались и годом раньше, в 1930 году. Дело, конечно же, касалось возможности его поездки в Германию на какое-то время для лечения жены и в связи с изданием его книг на немецком языке. (Вскоре, действительно, в Берлине вышел в свет его роман «Змеиная рубашка» с предисловием Стефана Цвейга).


Вернувшись из Москвы в Тбилиси, перед отправлением в Германию, Григол Робакидзе был принят новым грузинским Правителем (тогда, разумеется, Григолу Робакидзе, как и всем остальным, не было ничего известно о размолвке между двумя «стойкими большевиками»). Помню, как, вернувшись из Центрального Комитета в Союз писателей, он сказал тогда: «Я не мог выдержать его взгляда!» Хотя следует сказать, что у самого Григола взгляд был достаточно тяжелым, пристальным и пронзительным.

Итак, как было сказано, Григол Робакидзе тогда отправился в Берлин на время, и если бы не ссора между двумя могущественными вершителями судеб, от которых зависела и его судьба, вопрос о его окончательном переселении в Германию не встал бы вообще. По слухам, доходившим к нему из Грузии, он убедился, что возвращение на родину для него неизбежно будет означать лишь одно — преследование и репрессии.

Прошло совсем немного времени, и в Грузии, словно по команде (а скорее всего, именно по команде), поднялась кампания нескончаемой ругани и поношения переселившегося за рубеж писателя. Его всячески пытались дискредитировать, объявляли даже предателем, изменником Родины. Сначала была напечатана в газете «Комунисти», а позднее издана отдельной брошюрой большая статья партийного работника по имени Григол Мушишвили «Витязь в змеиной шкуре», громный пасквиль на личность и творчество писателя. Автор без обиняков назвал Григола Робакидзе фашистом. Даже близкие друзья Григола публиковали в газетах свои отклики, осуждая его за «измену Родине», увенчивая его такими эпитетами, какие стыдно произнести про себя даже по адресу настоящих врагов и предателей. Словом, пошла писать губерния.

Григол Робакидзе отправился в Германию в тот год, когда





Андрей Белый путешествовал по Грузии. Обратимся еще раз к впечатлениям русского писателя: «Я с Робакидзе не встречался; но — мы знакомы; меня познакомили с ним два его верных друга; стоял между нами он; кстати, — отмечу, чем я восхищен в моих новых друзьях: ни штриха самомнения, самости, или желания первенствовать; постоянно Яшвили подчеркивал: «Я-то что: Тициан, — вот в чем сила». Табидзе же кивает: «Не я, а — Паоло». И оба твердят: «Робакидзе, — как жаль, что разъехались с ним».

Григол Робакидзе был одной из узловых фигур грузинской литературной жизни двадцатых-тридцатых годов. Он оставался писателем неповторимого, ярко выраженного стиля, явлением цельным и монолитным. Он писал поистине так же, как ходил; одевался так же, как писал; сидел на стуле так же, как говорил. Все это, разумеется, было самолично создано и придумано им, оставляя, по правде говоря, впечатление некоторой искусственности как в манере письма, так и, скажем, в манере ходить или говорить. Эта манера была подчеркнута отлична от всех, невиданна у нас, необычна, она была какой-то чрезмерно иностранной, если можно так выразиться. Я никогда не слышал его смеха, не видел улыбки на губах, лицо Григола оставалось постоянно серьезным и сосредоточенным. Задумчивый, погруженный в себя — таким запечатлелся он в памяти. На писательских собраниях он неизменно усаживался в первом ряду (хотя и не на том месте, где впоследствии любил сидеть Константи́н Гамсахурдиа), опираясь обеими руками на свою неразлучную палку. Присутствующие уже даже не обращали внимания на его привычные «странности», словно узаконив их в восприятии общественности. Таков был Григол Робакидзе со своей огромной эрудицией, талантом, умением убеждать, великолепным знанием новейшей европейской философии и литературы. Его перу еще до отъезда из Грузии принадлежали получившие известность в мире романы, пьесы, стихи. Так что «странности» были не его второй натурой, а подлинной, естественной природой и характером. Другого Робакидзе в Тбилиси не мог представить никто.

Для Грузии Григол Робакидзе со своим философским и художественным творчеством представлял такое же явление, как для России, скажем, Соловьев, Бердяев или Андрей Белый, стиль и особенности которых знали все. Живи в России, он, я уверен, не уступил бы ни одному из них ни по своему



таланту, ни эрудицией, ни работоспособностью и продуктивностью.

В Грузии тех лет Григол Робакидзе был фигурой весьма заметной, как, к примеру, Иванэ Джавахишвили и Григол Церетели, Шалва Нуцубидзе и Серги Данелия, Луарсаб Андрионикашвили и Михаил Джавахишвили, Галактион Табидзе и Константинэ Гамсахурдиа. Но, видно, в общении с иностранцами он обладал чем-то, чего у них в такой степени не было, каким-то шармом, артистизмом, выработанным и благоприобретенным, а не врожденным.

Хотя здесь же следует сказать и то, что его нередко резко критиковали в Грузии за особенности литературного стиля и языка. Вспомним запись из архива Михаила Джавахишвили: «Фраза Григола Робакидзе красочна, насыщена, тяжеловесна, порою чересчур, темп живой... Иногда затянутый стиль величав, мощен, плотно нагружен, местами архаичен...» (К. Джавахишвили. «Жизнь Михаила Джавахишвили»).

В годы войны, особенно, когда германские полчища рвались на юг через Северный Кавказ и у Дарьяльского ущелья вплотную подступили к границе Грузии, в Тбилиси распространился слух, что Григол Робакидзе в Берлине чрезвычайно активизировался и будто бы даже сделался правой рукой Гитлера и Розенберга по вопросам восточных государств и их покорения. Возможно, причиной этого стало то, что многим у нас было известно о написанной им в тридцатые годы на немецком языке книге «Фюрер глазами восточного писателя», хотя читать ее лично, разумеется, никому не довелось. Это те самые тридцатые годы, когда во всей Европе проходила широкая волна пропаганды и поддержки диктатур и диктаторов (в этом вопросе никто не сможет конкурировать в первенстве с нашей страной, со всеми нами!). Помимо упомянутой книги, много разговоров в ту пору шло, будто еще с Тартусского университета Григол Робакидзе близко подружился с Розенбергом и теперь их попросту не разольешь водой. К этому добавилось и то, что солдаты легиона, созданного из грузинских военнопленных в немецких концентрационных лагерях и отправленного германским командованием на Северный Кавказ, к Баксанскому ущелью, которым совместно с немецкими полковниками командовал и грузинский генерал Маглакелидзе, какими-то неведомыми путями донесли до Грузии весть, что в поход их напутствовал и благословлял Григол Робакидзе. Слышал об этом и я в 1942 году в действующей армии на Северном Кавказе, возле Баксана.



Когда после войны генерал Маглакелидзе оказался в Тбилиси, все окончательно разъяснилось. Разумеется, прежде всего я расспросил о Григоле Робакидзе. Из вышеупомянутого его письма от 1962 года мы знаем: «Слыхал я, будто там думают, что я был гитлеровцем, это сплетни и сказки. Вот лишь один факт из множества: начиная с середины 1941 года и до окончания войны я находился под наблюдением гестапо. Если б я был гитлеровцем, разве поступили бы они таким образом?! Распространившееся там мнение — сплетни и сказки, и ничего более!».

Еще одна выписка из его письма «О том, что на сердце», адресованного грузинским писателям: «Военное время. Меня уговаривают выступить по радио. Сумел избежать, под разными предлогами. 2. Германское войско подступило к Кавказу. Одна брюссельская газета, выходящая на немецком языке, обратилась ко мне с предложением: давать им статьи о Кавказе. Я им переслал — силуэты: «Грузия и крестоносцы», «Иванэ Орбелиани», «Отпрыски Прометея», «Горы святы», «Имам Шамиль» (последний в дальнейшем вышел на арабском в одном журнале). Видимо, мне удалось отвести тот политический аспект, который, судя по всему, ждали от меня. 3. Попросили меня встретиться с грузинскими военнопленными. Повидал почти тысячу человек в различных лагерях. Беседовал с ними исключительно о Грузии (том именно предмете, которого касаюсь в очерке «Неизвестная Грузия» — первые «сводки», должно быть, уже представило вам «Грузинское слово»). Многие из этих военнопленных, хочется думать, уже вернулись на Родину. Они засвидетельствуют: как избегал я в беседах всяческих политических аспектов. Я читал им стихотворение «Письмо грузинской матери», которое посылаю одновременно с этим. Согласитесь: напечатать его (разумеется под псевдонимом) можно даже в Советской Грузии, даже во время войны. Однажды, это было в Бранденбурге, прочитал я пленным «Тамару» и «Кинжал» Важа Пшавела и свои собственные «Важаури» и «Закон земли». Редко испытывал я за всю свою жизнь подобное: геологический выплеск страстей и чувств, подлинный взрыв в зале. Однажды, при чтении «Письма матери», один пленный «потерял сознание» и, рыдающего, его вывели на двор друзья. Описание этих встреч стало для меня невозможным — часто обращался я к перу, но сразу же приходилось откладывать в сторону, поскольку не мог сдерживать слез. Вот и сейчас я плачу, вспоминаю — и плачу».





Из того же письма: «В Союзе думают, будто я стою на «другом» берегу, неправда это. Я на «третьем» берегу нахожусь — есть у реки и такой берег. Тот, кто находится здесь, не может стать ни мыслителем, ни художником».

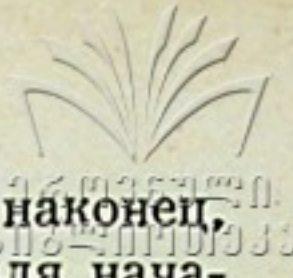
И еще, оттуда же: «Книга о Гитлере? Эта книга создана согласно «пифагорейским» планам. Коротко скажу: национал-социалистическое мировоззрение там полностью разрушено изнутри».

Читатель, должно быть, заметил, что подспудно Григола Робакидзе все же беспокоило существование этой книги, так же, впрочем, как и нас, оставшихся на этом «берегу», кое-что из написанного и опубликованного нами в ту пору.

Совершенно не похожа была на родного брата его сестра Лида, полный антипод Григола. Эта несчастная женщина ни своим поведением и обликом, ни разговором не напоминала знаменитого старшего брата. Она была простой женщиной, ничем не отличавшейся от остальных имеретинских домохозяек, и, глядя на нее, я часто думал о том, ценой каких огромных стараний и усилий добивался ее брат выработки своего нового, отличного от данного природой и Богом обличья, которое стало его второй, повседневной натурой. Впрочем, то же самое думал я порой и о Галактионе Табидзе.

Начиная с пятидесятых годов, когда только-только началась волна реабилитации, Лида часто приходила ко мне, и в Союз писателей, и домой, со всей страстью и энергией пытаюсь продвинуть вопрос о реабилитации брата, приносила копии его писем и фотографий (некоторые из них я храню по сей день). Но тогда, к великому сожалению, нам не удалось достичь никаких успехов в деле восстановления доброго имени Григола Робакидзе. Почему-то даже в эпоху «раннего реабилитанса» на именах трех грузин продолжало сохраняться табу: Ноэ Жордания, Григола Робакидзе и, уж совсем непонятно почему, — Александра Чеишвили. Эти три имени, запрещенные всемогущим центральным Главлитом, мы не смогли внести в Грузинскую энциклопедию даже в совсем недавние семидесятые годы. Несчастливая Лида так и покинула этот мир, не дожив до осуществления своей заветной мечты. Мне же за возбуждение вопроса о реабилитации Григола Робакидзе досталось немало неприятностей. Но справедливость в конце концов восторжествовала, и творчество замечательного грузинского писателя, до конца своих дней вынужденного оставаться за границей, было возвращено Родине.





Хотя и прошло столько лет, но все же следует, наконец, сказать об одном факте нашего прошлого. Впрочем, для начала заглянем в «Ласку призраков» Константи́не Гамсахурдиа: «Не забыть бы, что именно увлечение Ницше дало мне первый импульс в изучении немецкого языка. Уже во время учебы в Кутаисской гимназии я настолько хорошо знал язык, что сумел перевести первые главы из «Так говорил Заратустра».

И ниже:

«Мне, как сыну малочисленного народа, уже не нравилась ницшевская «Херер-мораль».

Да, несомненно, Григол Робакидзе и Константи́не Гамсахурдиа в Грузии были среди первых, увлекшихся этим учением.

Еще в двадцатые годы, в стенах Тбилисского университета, мне довелось стать свидетелем огромной популярности учения Фридриха Ницше не только среди профессоров и преподавателей, но и в определенной части студентов-старшекурсников. (В отличие от прочих «измов», это увлечение было завезено в Грузию непосредственно получившими западное образование молодыми людьми). В моей молодости в грехе тайной причастности к этому учению шепотом обвиняли даже некоторых теоретиков из числа большевиков. («Сверхчеловек», «вождь», «фюрер» — наряду с этими терминами, происхождение которых очевидно, в ходу была и проповедь морального принципа — «Будьте требовательны и беспощадны к другим и себе!»). Хотя официально против ницшеанства тогда была объявлена непримиримая борьба.

Увлечение этой философией в Грузии той поры не имело какой-либо агрессивной подоплеки (которую со временем все больше и больше приобрело в странах Запада, особенно в Германии и Италии), оно носило такой же характер, как увлечение, скажем, Гегелем, Кантом или, уже в наше время, Хайдеггером.

Вновь обратимся к Константи́не Гамсахурдиа: «Я пропагандировал эту теорию еще в 1918—1919 годах, тогда, разумеется, мне и присниться не могло, что ее последователями могут стать и фашисты. Это был эпигонский период в моем мышлении...» «Совсем еще молодой человек, я тогда не имел способности ни к самостоятельному мышлению, ни к усвоению того, что заимствовал у других». Вообще, как видно, то или иное философское учение может стать агрессивным, когда оно овладевает великими нациями, великими державами. Тог-





да и превращается оно в великодержавную милитаристскую идеологию. Идеология же малых, притесненных народов всегда проповедует гуманизм и братство. Грузия с ее многонациональным населением может служить превосходным примером этого.

К величайшему сожалению, и учение Ницше, и учение Карла Маркса, овладев великими державами, во многом, как в этом убедились люди моего поколения, оказались ни чем иным, как двумя сторонами одной медали, — с присущей им обоим жестокостью, антидемократизмом, диктаторскими режимами. В основном, идеологическое наследие двух этих мыслителей лишило нормального существования и, в конечном счете, привело к физическому уничтожению множество выдающихся умов наших народов, а за интеллектуальной элитой последовали еще 50 миллионов так называемых простых людей, унесенных и внутренними репрессиями, и кровопролитными сражениями Второй мировой войны. И все это происходило у нас на глазах, рядом с нами.

Сколько разговоров на эту тему было у нас с Константи́нэ Гамсахурдиа в его «Колхской башне» в последние десятилетия его жизни. С первых же дней Второй мировой войны он горячо и активно включился в работу по защите Родины. Своим пером, пламенными выступлениями на массовых митингах, на собраниях грузинской интеллигенции он всей мощью писательского и публицистического таланта громил всех, кто рвался к «Новому порядку», к утверждению средневекового «кулачного права», к рабству и угнетению народов на всем земном шаре. «В конечном итоге на эшафот возвели именно тех, кто в двадцатом веке пытался вернуть человечество к эшафоту, виселицам и позорным столбам».

Меня с Константи́нэ Гамсахурдиа связывала близкая дружба все последние десятилетия его жизни. Грузинскому читателю об этом известно по его письмам и интервью. Вскоре, надеюсь, доступными для интересующихся станут и его первые письма, адресованные мне.

Еще совсем молодым человеком, только-только перебравшимся из провинции в столицу, в поисках правильного пути в жизни, я постучался в дверь к Константи́нэ Гамсахурдиа. Был конец двадцатых годов. Он тогда подвергался особенно жестоким преследованиям, но это не остановило меня. И я отдал на суд Мастеру свои первые стихи. Тогда из всех прославивших его имя романов был написан пока только один — «Улыбка Диониса», а из стихотворений — те, которые соста-



вили сборник «Курфюрстендамм» и «Ода Загэсу»... Об этом сам Константинэ Гамсахурдиа вспоминал в своей большой статье «Поэт-академик Ираклий Абашидзе». Вот один отрывок из этой статьи:

«Он смущаясь начал речитативом читать. Эти стихотворения были посвящены любви и природе, друзьям-приятелям и, что самое главное, Родине». Да, именно таков был круг моих тем: любовь, дружба, природа, Родина... Тогда еще, в пору моей молодости, поэзия не была окончательно и полностью политизирована, пока еще источниками вдохновения для нее были дружба, природа и Родина. А пройдет совсем немного лет, и мне, как всем другим, придется взвалить на слабые плечи моей музы тяжелый и несвойственный ей груз. Тяжесть эту пришлось ей тащить на протяжении целых десятилетий, вплоть до пятидесятих годов.

В ту пору дружба с Константинэ Гамсахурдиа была делом весьма непростым. Дадим вновь слово ему самому, обратившись к той же статье:

«Должен признаться: на первых порах его председательства в Союзе писателей у меня с ним происходило немало споров; следует отметить и то, что меня настроили против него некоторые наушники и разносчики сплетен...» И немного ниже: «К чести Ираклия Абашидзе надо сказать, что и в молодые годы ему не свойственно было упорствовать в фарватере своих заблуждений. Взбудораженный моей бурной жизнью, я нередко выходил из равновесия». В годы войны все мы утратили душевное равновесие, тридцатые же годы были годами, когда Константинэ Гамсахурдиа не отрывался от листа писчей бумаги ни днем, ни ночью, работая над романами «Похищение луны» и «Десница великого мастера», а в такую пору Мастеру можно простить больше, чем просто потерю душевного равновесия и выдержки. Именно в тридцатые годы творчество Константинэ Гамсахурдиа достигло зенита.

Из всех наших писателей, получивших в свое время образование за рубежом, характером и общением особо выделялся Геронтий Кикодзе. Воспитанный на марксистских идеях, он очень рано осознал их бесперспективность и, уже в первые годы установления в Грузии советского строя, вообще отказался от всякой политической деятельности, которой как писатель и журналист весьма активно занимался прежде на протяжении долгих лет. Он полностью переключился на переводческую



работу, обогатив, как известно, грузинскую культуру <sup>многими</sup> великими творениями зарубежной литературы.

Геронтий Кикодзе был одним из немногих грузинских писателей, лично знакомых с Иосифом Джугашвили еще по его революционной деятельности. Будь на его месте кто иной, уж, будьте уверены, воспользовался бы этим знакомством, когда Джугашвили превратился в Сталина, вождя всех времен и народов. Они были тогда довольно близки, и, когда у Сталина скончалась первая жена, Геронтий Кикодзе, говорят, был удостоен приглашения на поминки, но не воспользовался этим приглашением. В тридцатые годы, когда в Москве Сталина посетил его старый друг Павлэ Сакварелидзе (Большой Павлэ), Иосиф Виссарионович поинтересовался, как Геронтий, как его житье-бытье, и, узнав, что в Грузии он перебивается одними переводами (кстати, в числе переведенных авторов был и Карл Маркс), сказал: «Видать, очень он нами недоволен!» После этой фразы, за которой в те годы могло последовать все что угодно, Геронтий Кикодзе немало опасался за свою судьбу. После начала войны мы 22 июня проводили митинг в Союзе писателей и попросили выступить на нем Геронтия Кикодзе, и, несмотря ни на что, он произнес великолепную речь, которую закончил так:

— Говорят, в этой войне победит тот, у кого больше моторов и лучше техника, следовательно победа будет за нами, поскольку наша страна обладает самым великим и могучим мотором — этот мотор сердце Сталина.

Сейчас два этих писателя — Константинэ Гамсахурдиа и Геронтий Кикодзе, — во время пребывания за рубежом занимавшие противоположные позиции, оказались вместе, по одну сторону баррикад, один из них уже перестал считать себя ницшеанцем, а второй — марксистом.

Ближайшим другом Геронтия Кикодзе был писатель с фантастической революционной биографией — Лео Киачели. Они были неразлучны и в молодости, и в годы революционной работы, и в зарубежной эмиграции. Позднее, надо сказать откровенно, они не очень охотно вспоминали о своем революционном прошлом. И тем более не требовали себе никаких льгот и наград за эти заслуги, никого не беспокоили своими просьбами. Должно быть, в годы своих юношеских увлечений они не могли бы и предположить, что революция могла привести к такому итогу. Тогда они были увлечены совсем другими мечтами и надеждами, иным окружением, иными дру-





зьями-товарищами. После революции же во главе государства оказались совсем другие люди. Два друга-писателя никого не упрекали за разочарование в своих юношеских мечтах. Словно даже винули самих себя. Сейчас тихой обителью для них стала литература, которой они служили верой и правдой. Оба они на ружейный выстрел не подпускали к себе никакую политику, хотя, думаю, в душе жалели о многом. Геронтий Кикодзе, так же как автор «Тариэла Голуа» и «Крови», ни на дружеских встречах, ни на официальных собраниях никогда никого не обременял воспоминаниями о своих прошлых заслугах и встречах с людьми, ставшими впоследствии знаменитыми. Два этих благородных человека и замечательных писателя сейчас предпочитали все свободное время проводить за игрой в нарды, впрочем, Лео Киачели не меньше увлекался и шахматами.

Их обоих связывала тесная дружба с Паоло Яшвили, завязавшаяся также за рубежом. Геронтий Кикодзе, как он пишет в своем великолепном мемуарном очерке «Паоло Яшвили», познакомился с ним в Париже. Что же касается Лео Киачели...

«Безропотный», «смирившийся перед всеми бедами» — никому среди тогдашней грузинской интеллигенции эти определения не подходили больше, чем Лео Киачели. Даже не говоря о тяжелом революционном прошлом, достаточно вспомнить его семейную трагедию, чтобы испытать к нему сочувствие и сострадание. Он же находил душевное облегчение не в стенаниях и жалобах, не в громогласных проклятьях своей несчастливой судьбы, а только и только в творчестве, оставив нам великолепные художественные творения. В жизни Лео Киачели был таким же благородным и обаятельным, как и в литературе. Взорам окружающих он представлял поистине «человеком гор».

Отторжение от родной почвы Григола Робакидзе в 30-е годы было первым ударом не только по его друзьям-писателям, но и по всей грузинской литературе. Особенно, по ее дореволюционному поколению, которое, впрочем, к этому времени уже — по убеждению или под давлением — перешло полностью на новую платформу. Вспомним слова Тициана Табидзе, сказанные им в статье «Дни Толстого» еще в 1928 году:

«После Октября у нас появился на свет новый человек, но даже те, кто родился до Октября, сейчас были заново рождены и крещены огнем и лавой... И я на собственном примере



наблюдаю за этими людьми, людьми с новыми чувствами / и впечатлениями».

В наши дни, когда стало возможным высказывать любое мнение, один по-настоящему талантливый и серьезный литератор даже написал, что некоторые писатели вынуждены были на потребу эпохе сочинять состряпанные на скорую руку вещи. Справедливо ли такое суждение? Ну-ка, попробуйте «состряпать на потребу» такие крупномасштабные произведения, как «Вождь» или «Цветение лозы», или целые пассажи из «Похищения луны».

Вот что писал по этому поводу в одной из своих статей Григол Робакидзе: «Прочитал первую книгу трилогии Гамсахурдиа, не знаю, завершил ли он две остальные или пока нет... Может, он лукавил, когда писал эту книгу? Нет. Я уверен: всем сердцем жаждал он как художник проникнуть в избранный им предмет. Не сумел? Только потому, что здесь ему, при всей его искренности, не хватило «подлинности».

В этой же связи можно упомянуть, что «Гори» написано тем же самым пером, что и «Никорцминда», а «Детство и отрочество» принадлежит автору, создавшему «Ниноцминдскую ночь». Перечитайте сегодня все эти произведения и еще множество других и ответьте: разве во всех них главное и основное не замечательные картины нашей земли, не любовь и верность Родине?

Тогда, — может спросить суровый и неподкупный судья из сегодняшних молодых, — для чего понадобилось в дальнейшем, в конце тридцатых годов, уничтожать и преследовать всех этих выдающихся художников, если они верно служили режиму и вождю?


А. Авторханов справедливо писал об эпохе культа личности, что если врага не существовало, его выдумывали. Именно в тридцатые годы с самой высокой в СССР трибуны было провозглашено: «В эпоху развернутого социалистического строительства классовая борьба не утихает, а обостряется». Все это предельно способствовало утверждению культа личности и в центре, и на местах.

Вторая мировая война была уже на пороге.

Весь Советский Союз, как я уже говорил выше, в ускоренном темпе превращался в военный лагерь.

Одной из наиболее знаменательных примет тридцатых годов стало то, что простой поддержки людьми господствующего режима, социализма, коммунизма, было уже недостаточно. Сейчас единоличная диктатура требовала уже большего: безого-





всрочной преданности конкретным лицам в центре и на местах. Только это, и ничего больше! Кто уж помнил о социализме и коммунизме!

В частности, и в Грузии все свелось к проявлению верно-подданнических чувств Главному человеку в республике, все остальное не имело никакого значения. А это, особенно в наших условиях, не могло не принести множество несчастий и бед. Чему, к величайшему сожалению, все мы и стали свидетелями, особенно начиная со второй половины тридцатых годов.

Ссылаясь на собственные наблюдения одного из обычных свидетелей семидесятилетней советской истории, могу сказать: а, может, для победы демократии и впрямь необходимо последовательно преодолевать все обязательные ступени? Мы, в Советской стране, попытались перескочить через них, но, как стало ясно сегодня, подобная физкультура не принесла нашей стране ничего хорошего. Здесь я вновь обращаюсь к горьковским словам, опубликованным в 1918 году в «Новой жизни» и перепечатанным семьдесят лет спустя в «Литературном обозрении»: «Я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти. Недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего».

Видимо, подлинное лицо демократа проявляется человеком не тогда, когда он находится в рабском состоянии, а тогда, когда дорвался до власти, до руля. В рабстве все — демократы. Проповедники демократической идеи должны быть и сами генетически рождены демократами; только таким людям по силам выдержать испытание демократией при любых обстоятельствах. У своего истока же демократичность, как видно, дело более трудное и сложное, чем авторитаризм. Опасаюсь, что заветное знамя демократии в нецивилизованных странах развеивается только до победы над противниками!

Скажем здесь несколько слов о Коммунистической партии, партии большевиков, как ее много лет называли.

Вспомним для начала, что уже с наступлением тридцатых годов, одновременно с ликвидацией НЭПа, резко был сокращен, а затем и вовсе прекратился прием в ряды партии новых членов. Редчайшие исключения могли допускаться лишь для людей с безусловно пролетарским происхождением. Заявления же о приеме от интеллигенции вообще даже не рассматривались. И это после такой массовой компании по попод-



нению рядов партии, как «Ленинский призыв», последовавший после смерти вождя и основоположника.

Прием в партию возобновился лишь в конце тридцатых годов, когда в результате массовых репрессий пострадавшими оказались, в первую очередь, сами «правоверные» большевики. Насколько я знаю, партия в те годы потеряла почти две трети своего состава, если не больше. Поэтому пришлось срочно распахнуть двери для всех желающих пополнить поредевшие ряды «ордена меченосцев», как назвал партию сам ее предводитель. И прием стал вестись прямо-таки в массовом порядке. Теперь это относилось и к интеллигенции, поскольку именно ее более других коснулись губительные вилы всевозможных чисток и репрессий.

Новобранцев стали зазывать с непривычным радушием, побуждать к вступлению в партию. Чем иначе можно объяснить, что, когда открылись наглухо запертые до недавнего времени двери, в них стали толпиться в первую очередь те, кто с нетерпением дожидался своей очереди проникнуть в эту святая святых на протяжении многих лет, не говоря уже о нас, молодых. Среди «новообращенных» оказались и доживший до седых волос драматург Шалва Дадиани, и ученый-математик с мировым именем Нико Мухелишвили, и прима-балерина Тбилисского театра оперы и балета Лили Гварамадзе, и многие другие.

Столь массовое пополнение партийных рядов новыми членами во всей истории большевистской партии было явлением необычным, невиданным. Так в одночасье пополнилась видными представителями грузинской интеллигенции и наша республиканская Компартия, один из отрядов ВКП(б), послушно во всем следовавшая по ее стопам. Коммунистами стали ученые, писатели, журналисты, деятели искусства, инженеры, медработники, агрономы, учителя, библиотекари, изобретатели, полиграфисты...

Подчеркнем здесь же и то, что начиная именно с тридцатых годов членство в партии являлось уже не только показателем идейных позиций и верований человека, его политического кредо. Членство в Компартии означало больше, — что человек убежден в торжестве марксистско-ленинской идеологии и коммунистической идеи, готов ради них отдать все свои силы.

Абсолютное большинство представителей интеллигенции, если не все, вступая в партию, руководствовалось отнюдь не идейными соображениями. И это понятно: отныне членство в



партии означало мандат на право занять свое место в жизни, утвердиться в «высшем свете», «выйти в люди». С самого начала сознательной жизни каждый должен был решать для себя этот вставший перед ним вопрос: отныне абсолютно не имеет значения, достоин ли ты по своим убеждениям и нравственным качествам членства в партии вообще. Если хочешь занять хоть сколько-нибудь заметное место в новой партийно-государственной структуре общества в том его виде, как оно сложилось к этому времени, то подавай заявление, и отныне единственным твоим долгом и обязанностью является лишь беспрекословное послушание и верность партийной дисциплине.

Если в годы независимости Грузии, после Октябрьского переворота в Петрограде, в центре внимания нашей общественности оказалась выдающаяся победа грузинской науки и просвещения — основание Тбилисского университета и, соответственно, могучая библейская фигура Иванэ Джавахишвили, и еще, в те же годы, торжество нашего оперного искусства, выразившееся в открытии Тбилисского театра оперы и балета, и личность Захария Палиашвили, точно так же в двадцатые-тридцатые годы весь интерес культурной общественности сконцентрировался вокруг грузинского драматического театра и его ключевой фигуры, замечательного режиссера-реформатора Котэ Марджанишвили.

В те годы мне доводилось слышать, что Котэ Марджанишвили приехал в Тбилиси, вовсе не имея целью остаться здесь навсегда. В его творческих планах и мечтах были сцены Европы и даже Америки, знаменитые театральные труппы Парижа и Нью-Йорка. В Тбилиси он оказался, если можно так выразиться, отрезанным от пути назад, его возвращению помешал не кто-то конкретно, а бедственное положение, в котором находился тогда театр Руставели. Посчитав своим патриотическим долгом спасти театр, наше национальное достояние, Котэ Марджанишвили так и остался до конца своей карьеры в Грузии.

История нашей культурной жизни XX столетия дает красноречивые примеры того, какие плоды принесла эта непредвиденная перемена планов великого режиссера грузинскому театру и кинематографу. Один из результатов наглядно проявился уже в начале тридцатых годов, в ходе проходившей в Москве Всесоюзной Олимпиады национальных театров, где руставелевцам сопутствовал сенсационный успех, правда, уже под руководством Сандро Ахметели, возвращенного и выпесто-



ванного Марджанишвили. А в решении жюри Олимпиады было прямо сказано, что театр Руставели представляет собой исключительное явление в мировой театральной культуре.

К сожалению, впоследствии внимание всей грузинской интеллигенции перенеслось на размолвку двух этих замечательных режиссеров, раскол между ними, во время которого сторону Марджанишвили взяли из писателей представители бывших футуристов и «Левизны», тогда как Ахметели поддерживали «голубороговцы». Разумеется, это огорчительное для всех подлинных патриотов грузинской культуры событие нашей театральной истории имело свои как объективные, так и субъективные причины, но здесь мы не считаем возможным углубляться в них. Тем более, что в те злосчастные тридцатые годы все это переплелось с чрезвычайно неприятными и драматическими событиями.

Не добившись своего со старыми революционерами, которые в результате почти все до одного погибли, новый Правитель республики в отношении других использовал всю свою власть в полной мере. Шантажом и устрашением или подачками в виде наград и продвижения по службе он сумел завоевать поддержку значительной части грузинской интеллигенции — ученых, писателей, деятелей искусств. Это следует сказать здесь со всей определенностью. Курс был взят на привлечение наиболее заметных фигур. Среди них оказались и представители старой интеллигенции, которые достаточно хорошо помнили о своем прошлом горьком опыте, чтобы снова рисковать благополучием и свободой. Новый грузинский Правитель присвоил себе также права, которых в Грузии никогда не имел ни один царь. На основании опыта, пережитого моим поколением, к моему великому сожалению, я должен здесь сказать: — А что, если грузинский народ не в состоянии вообще оказывать уважение и признание нескольким своим выдающимся деятелям одновременно? Только одного человека, одного своего избранника делает он для себя кумиром и надеждой и, в конце концов, доходит до его обожествления, пока... пока тот не окажется свергнутым с пьедестала какими-нибудь внешними обстоятельствами.

Не надо, однако, выставлять дело таким образом, будто, кроме подлости и зла, ничего другого тогда не происходило, как это кажется сегодня многим. Нет, конечно, немало делалось и полезного.

Повествуя о тяжелых обстоятельствах, грех забывать и о



хорошем, о том, что в тридцатые годы страна имела и успехи, и достижения. Относительный порядок, наступивший на селе после хаоса и голода первых лет коллективизации, рост урожайности, сравнительное изобилие продуктов питания на полках магазинов, отмена в 1934 году продуктовых карточек, ликвидация безработицы, быстрый рост промышленности, освоившей производство тракторов, автомобилей, самолетов, строительство метро в Москве.

Все это действительно так и было, и об этом сегодня забывать нельзя. Как нельзя ни на минуту забывать и о методах, которыми достигались все эти успехи в стране, о той цене, которой за них было заплачено. В этом и состоит преимущество мемуариста, что дистанция времени позволяет ему, отрешившись от эмоций, окинуть пройденный путь взглядом объективным и беспристрастным. Беспристрастным? Да. Но не бесстрастным: это была наша жизнь.

Изменила свой облик вся страна, изменялась и наша столица; ее извивающиеся по откосам улочки и старинные районы, ее архитектура, зачастую лишенная национально-грузинского своеобразия, заболоченные берега Куры, откосы гор Табори и Мама-Давити. Над Тбилиси вознеслось величественное здание над верхней станцией фуникулера с замечательным парком вокруг. Засветились первые лампочки, питавшиеся энергией ЗАГЭС, РионГЭС и многих других электростанций, выросших на наших реках. Развивалась наука, музыкальное, театральное и киноискусство. Один за другим появлялись ансамбли народной песни и танца. Повышенным вниманием пользовался спорт. Именно в эти годы увидели свет произведения, вошедшие в наш золотой фонд — «Эпоха» и «Революционной Грузии», «Десница великого мастера», «Арсен из Марабды», «Похищение луны» и «Княжна Майя», «Лирическое лето» и «Стих и юность — их разделить нельзя»... На театральных сценах ставились «Ламара», «Ин тиранос», «Кваркваре Тутабери» и «Оп-ля, мы живем!»... Список можно продолжать и продолжать. Что же касается грузинского кино, то если сегодня оно пользуется такой популярностью во всем мире, что ему даже посвящают, как любимой девушке, стихи («Люблю грузинское кино», «Огонек», 1991 г.), то прочный фундамент его нынешних достижений был заложен именно в эти годы, руками первых больших мастеров — режиссеров и актеров.

Самое, пожалуй, главное, что началось методичное, планомерное наступление против национального нигилизма, пришедшего с первыми годами революции. Восстановлены были



в правах классики. В аудитории Тбилисского университета вернулся Иванэ Джавахишвили, избранный вскоре даже депутатом Верховного Совета Грузинской ССР и членом его президиума и награжденный орденом. А в конце этого десятилетия было решено отметить первый юбилей Руставели, которому предшествовали торжества по случаю юбилейных дат Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели.

Судьба, словно для того, чтобы в атмосфере тех ужасных лет дать людям хоть немного перевести дух, «выделила» на тот проклятый в нашей истории и судьбе год три эти юбилейные даты, «круглые» годовщины: 100-летие рождения и 30-летие гибели Ильи Чавчавадзе, 100-летие со дня роковой дуэли Пушкина, наконец, самое знаменательное и достопримечательное для нас — 750-летие «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, отмечавшееся уже на самом исходе года.

Решение о праздновании этого юбилея стало неожиданным для многих в Грузии и не только в Грузии, хотя основание для него, можно сказать, заложил еще Первый съезд писателей СССР, когда были всенародно восстановлены в правах имена классиков наших национальных литератур.

Не стану здесь особо распространяться о двух первых юбилеях — они, если мерить сегодняшними мерками, прошли довольно ordinarily, хотя в те времена, когда ни у кого из нас не было еще опыта проведения — «массовых» и «крупномасштабных» юбилейных и иных литературных торжеств, они прозвучали весьма заметно и впечатляюще. Стоит упомянуть только, что в связи с Чавчавадзевскими днями в Цицамури, на месте его злодейского убийства, был воздвигнут обелиск.

Несколько подробнее выскажусь в связи с 750-летием «Витязя в тигровой шкуре», в торжественных мероприятиях которого вместе с нами приняли участие крупнейшие писатели и общественные деятели Советского Союза и гости из-за рубежа. Причем коснусь не существа этого события, его значения, организации и т. п., а некоторых его явных и скрытых целей и задач, поскольку сегодня уже можно сказать об этом без утайки.

Как и после Первого всесоюзного съезда писателей, на котором, мы знаем, грузинская литература прозвучала достойно и внушительно, так и по поводу торжеств, посвященных «Витязю», в те времена кое-где раздавались голоса о том, что и он, якобы, понадобился И. В. Сталину для собственных



целей, во имя возвеличения и укрепления своего авторитета в мире. (Выше мы уже касались мимоходом этого вопроса.) Я бы не стал полностью сбрасывать со счетов этого мотива, и об этом следует сказать здесь вслух. Собственно говоря, разве нашелся какой-либо выдвигенец из малочисленного народа, неизвестный никому, который бы не воспользовался подобной возможностью? И вряд ли его можно осуждать и даже упрекать за это.

Тем более, что тогда, как говорили, в одной из зарубежных газет написали что-то вроде того, что Советским Союзом руководит, мол, человек, родившийся в каком-то дикарском краю. И вот, сначала на Первом съезде писателей, а затем и широкомасштабным юбилеем великой поэмы, проповедовавшей идеи возрождения и гуманизма и насчитывавшей ни много ни мало 750 лет со дня своего создания, он не преминул продемонстрировать всему миру: глядите и дивитесь, из какого «дикарского» края я родом!

В ходе подготовки к юбилею и его проведения во всей стране публиковалось множество статей об эпохе Руставели, истории Грузии, ее многовековой культуре, о старинных памятниках грузинской духовной и советской архитектуры, о нашем искусстве, языке, древнейшей полифонической музыке, несравнимом искусствековки металла наших далеких предков — халибов и чеканщиков по золоту и серебру, даже о замечательной грузинской породе пчел...

Может, все это и впрямь использовалось тогдашним диктатором для своих тайных целей. Но не будь в сокровищнице нации всех этих культурных и прочих ценностей, то даже он не смог бы их «выдумать» по собственной прихоти.

С другой стороны, объективно (да, именно объективно!) говоря, все это шло на пользу нашему главному, Грузинскому делу, во всяком случае, уж никак не вредило ему. Юбилей Руставели тоже служил славе и величию Грузии!

(Здесь невольно появляется желание глубже разобраться в неоднозначной диалектике отношений личного и общественного. Это действительно интересная проблема для разсуждений на общественно-политические темы, и тридцатые годы дают немало любопытного материала для них.)

Припомним здесь еще один эпизод из периода подготовки к Первому съезду писателей СССР: читателю известно, что в месяцы, предшествовавшие съезду, Сталиным был принят в Москве председатель Союза писателей Грузии Малакия Торошелидзе, который, вернувшись в Тбилиси, срочно взял-



ся за коренную переделку своего доклада предстоящему съезду. Если раньше текст ограничивался, в основном, лишь советским периодом грузинской литературы, ее пролетарским, демократическим направлением, начиная с Эгнате Ниношвили, то теперь картина принципиально изменилась в желанную для всех нас сторону. Доклад начинался, как и полагалось по всем законам, с V столетия, когда был создан самый древний из дошедших до нас памятников письменной грузинской литературы. Говоря по правде, первый вариант доклада не только принижал авторитет самого докладчика, но, в первую очередь, ронял достоинство нашей литературы.

Именно в тридцатые годы стали говорить о Сталине, как о крупном теоретике, и не только в области партийной идеологии. Думается, начало этому было положено еще раньше, в предыдущее десятилетие, когда, выступая с высокой трибуны, Сталин выдвинул свою пресловутую теорию слияния в будущем не только наций, но и языков, правда, отнеся эту «вдохновляющую» перспективу в коммунистическую даль. Нико Марр, крупный советский лингвист, заявил тогда, что в этой речи столкнулись мысли ученого теоретика и революционера-практика. (Хотя, как известно, эта теория, выдвинутая еще в двадцатые годы, наукой не была принята.) Как ни удивительно, в своей вступительной речи на Первом всесоюзном съезде писателей Максим Горький тоже счел нужным упомянуть о «железной воле» Иосифа Сталина.

Развернулась широкая подготовка к изданию многотомного собрания трудов Сталина, с неприкрытой сверхзадачей обобщить и суммировать его роль как теоретика. Имя И. В. Сталина было присвоено Тбилисскому университету. А его теоретическая дискуссия по вопросам языкознания с Н. Я. Марром получила продолжение двадцать лет спустя.

Итак, истоки этого явления уходят в тридцатые годы, когда в сознание народа внедрялось убеждение, что руководитель страны не может не быть крупнейшим знатоком и специалистом во всех отраслях науки и искусства. «Товарищ Сталин, вы большой ученый...»

Что же касается политических дискуссий вообще, то надо помнить, что конец им всем был положен еще в первые годы коммунистической диктатуры в стране.

Если в начале того злосчастного года Грузия еще смогла более или менее торжественно и празднично отметить юбилей Пушкина и Чавчавадзе, то связанные с 750-летием поэмы Руставели торжества напоминали воистину пир во



время чумы, не в силах скрыть налет искусственности и несвоевременности.

И тем не менее, в 1937 году были проведены все три юбилея.


Все эти благотворные и обнадеживающие перемены, несомненно, тоже сыграли немаловажную роль, если не в полном повороте, то, во всяком случае, в примирении грузинской интеллигенции с новым Руководителем. Пусть сегодня никого не удивляет, что в те годы не только среди тогдашней молодежи, но и из уст выдающихся грузинских деятелей, людей с богатым жизненным опытом не раз слышны были эйфорические восклицания.

Здесь со всей определенностью следует сказать об одном обстоятельстве в связи с этими воспоминаниями: они отнюдь не ставят себе целью каким-либо образом, во что бы то ни стало оправдать наше поколение во всем, в чем его сейчас сплошь и рядом обвиняют. Нет, все, что пронеслось за эти семьдесят лет над нашими головами, и объективно, и субъективно было, если воспользоваться словами одного известного русского общественного деятеля нашего времени, нашей бедой, а не нашей виной! Да, бедой, а не виной... И вновь обращусь к мудрым словам Или Второго: «Были ли бы мы на их месте лучше и тверже?..» (Для сведения нынешних «молодцов-обличителей» добавлю еще вот что: умным человеком давным-давно сказано, что нет ничего отвратительнее, чем дозволенная смелость!).

Можно сказать, что в начале 30-х годов весь Тбилиси проявлял особый интерес к литературе, поэтическому слову, особенно после того, как в апреле 1932 года было объявлено, что в 1934 году в Москве должен состояться Первый съезд писателей Советского Союза.

В те годы московская литературная (и не только литературная) пресса широко предоставляла свои страницы виднейшим русским писателям, выступавшим с переводами из грузинской литературы. Русские поэты создали немало великолепных оригинальных стихотворений, посвященных Грузии. Они и сегодня составляют золотую страницу летописи подлинно дружеских взаимоотношений между нашими народами. В центральных газетах и журналах публиковались обширные статьи о Грузии, грузинской культуре и искусстве, о грузинских писателях, ученых. Многомиллионный читатель в Совет-





ском Союзе и за его пределами благодаря этим статьям получил возможность лучше узнать о прошлом и настоящем нашей страны. Грузия смогла вырваться за Кавказский хребет. Началась систематическая, организованная работа по переводу лучших образцов грузинского художественного слова — классического и современного — на русский и другие языки, о чем в свое время так горячо мечтал Илья Чавчавадзе.

Да, в те далекие тридцатые годы весь Тбилиси прямо-таки жил, дышал литературой, поэзией.

Любители готовы были ночи напролет проводить за чтением какой-нибудь нашумевшей литературной новинки, будь то, скажем, «Арсен из Марабды» Михаила Джавахишвили, «Похищение луны» или «Десница великого мастера» Константина Гамсахурдиа, рассказы Лео Киачели, Демны Шенгелая и других. Поэтические вечера в тбилисских концертных и театральных залах затягивались далеко за полночь. Новые романы, театральные постановки или кинофильмы становились предметом горячих дискуссий, и не только на официальных заседаниях, но и просто на улицах, в трамваях, за праздничными столами.

Как говаривал Константин Гамсахурдиа, «все это создавалось в нашу эпоху, у нас на глазах и даже при участии нашей трудолюбивой, неуставшей десницы, при содействии Советской власти».

Имя Михаила Джавахишвили, его литературная биография, заставили меня вспомнить еще об одной нашей в высшей степени современной литературной проблеме.

Всего пару слов об этом.

Григол Робакидзе пишет: «Мне кажется, Михаил Джавахишвили появился на писательском поприще 50 лет тому назад как новеллист. Неожиданно он бросил литературные занятия. Причина? Филипэ Гогичаишвили, оказывается, как-то, привычно пряча ироническую усмешку в усах, сказал начинающему автору: «Оставь-ка, сынок, сочинение сказок, возьми за настоящее дело!..». Прошло время, большевики захватили власть. Грузия оказалась «советизированной». Дело, взятое за которое советовал Филипэ Гогичаишвили, не увлекло Михаила Джавахишвили. Он, разочаровавшись, теперь вновь вернулся к литературе. Одна новелла появлялась за другой, один роман за другим. Круг его читателей с каждым годом расширялся... Ни один писатель не имел в Грузии



такой популярности, как Михаил Джавахишвили. Ни один не переводился на другие языки столько, сколько он».

Скажем прямо, советская власть нуждалась в поддержке со стороны литературы и искусства. Трудно припомнить другую эпоху в истории, когда на них возлагалась такая ответственная роль в общественной жизни народа. Неизмеримо выросла ценность литературы, признание ее.

Не раз писалось о том, что литература в нашей стране имела самую массовую читательскую аудиторию. И если когда-то многомудрый Филипэ советовал Михаилу Джавахишвили взяться за настоящее дело, то теперь таким «делом» стала как раз литература. Михаил Джавахишвили, насколько мне известно, неплохо владел и «настоящим делом», но сейчас все ушло в прошлое.

Писательство, искусство стали вполне почетными занятиями, настолько, что сам Сталин не посчитал зазорным для себя принадлежать к нему. И в один прекрасный день в те тридцатые годы был нарушен его прежний запрет, когда он, таинственно улыбаясь в усы, неизменно отказывался давать согласие, — теперь в прессе вдруг напечатанными оказались его «Расцвел у розы бутон» и другие отроческие стихотворения. Нужно ли говорить, что они немедленно были переведены на русский и на сотню других языков.

Все мы, более или менее известные писатели и работники искусств, как известно, имеем различные правительственные награды и отличия, и я никогда не слыхал, чтобы кто-то когда-то отказался от них. Такого не бывало во всем Советском Союзе, в том числе, и в Грузии. Наоборот, помню множество обиженных, что их обошли, оскорбили невниманием.

И вот прошли десятилетия, советская эпоха подошла к завершающей стадии своей истории.

Как видно, наступает эпоха «настоящих дел». Но литература и искусство вечны, они будут жить в веках, в этом нет сомнений. И все же, что нас ждет завтра? Каким будет ближайшее будущее?

Не так давно известный киргизский писатель Чингиз Айтматов в «Литературной газете» высказал свою озабоченность: «Те люди, та среда, с которой я привычно общался, стали иными, и наши критерии иные. Прежде даже небольшая статья, не говоря уже о повести или романе, вызывала мгновенные отклики. Я чувствовал, что высказанное находит своего адресата. Сейчас не так. Я понимаю, что всем не до литературы, все охвачены политическим безумием. А как дальше —



будет ли литература властелином умов, душ, чувств, или у нас кончилась ее эпоха? Признаюсь, я страдаю из-за того, что не чувствую жизнь литературную в той значимости, в той энергии, которые были всегда ей присущи и в которых я видел смысл своего труда».

Так все же что ждет нашу литературу и искусство в ближайшем будущем?..

Увы, вновь звучит издали совет Филиппа Гогичаишвили начинающим авторам: «Возьмитесь за настоящее дело!»

Но все это проблемы, принесенные новейшим временем, 80—90-ми годами. Уж слишком далеко занесло нас, на полвека, даже шестьдесят лет вперед. Тогда как наша сцена, время и место нашего повествования — 30-е годы XX столетия. Немедля вернемся назад...

Все вышесказанное припомнилось в связи со статьей Григола Робакидзе, посвященной (Михаилу) Джавахишвили. Тогда как в те тридцатые годы уже ничего не было слышно о самом Григоле Робакидзе, как будто такого феномена вообще не существовало в нашей литературе, нашей культуре. Такова была судьба всех эмигрантов — их напрочь вычеркивали из жизни их же родины. Только по какой-то неведомой случайности дошло до нас из-за кордона стихотворение одного-единственного поэта-эмигранта Бережиани. Это стихотворение, вернее его последние строчки, проникнутые грустью и тоской, остались в памяти:

Каркает ворон над тополем голым,  
Ветер колышет скосившийся кров,  
Вороном мне бы родиться бы, что ли?  
С Родиной милой увидеться б смог...

Позже я узнал кое-что о трагическом конце этого поэта: немцы забрали его после оккупации Франции, где он жил, и отправили на Восточный фронт. Но — может, и к счастью для него — ему судьба не сулила добраться до места назначения, он погиб где-то в пути...

Полной мерой изведав гостеприимство и хлебосольство грузинских писательских домов, наши гости, русские поэты, проведя несколько дней в Тбилиси, двигались затем дальше, в районы Восточной и Западной Грузии. Как в Тбилиси, так и во всех подобных поездках, главным застрельщиком неизменно оказывался, конечно же, Паоло Яшвили.

В те годы в Зестафони открывался новый ферромарган-



цевый завод, что стало крупнейшим событием в жизни всей республики. И гостившие в те дни в Западной Грузии русские поэты, разумеется, все получили приглашение на это торжество. Помню, как украсили этот праздник выступления гостей. В частности, перед глазами до сих пор стоит на трибуне митинга Борис Пастернак. Я недавно вспоминал о его тогдашнем выступлении в связи с какой-то юбилейной датой поэта: гостям показали завод и рабочих, трудившихся в тяжелейших условиях у раскаленных, пышущих огнем печей, Борис Леонидович испытал настоящее потрясение и, поднявшись на трибуну, вместо восхвалений и поздравлений, призывов героически проявить энтузиазм «на трудовой вахте», начал свое выступление так: — О, несчастные друзья мои, если бы вы только знали, как мне вас жаль!

Разумеется, возникла неловкость, поднялась суматоха, и кто-то из заводских начальников поспешно свел с трибуны прослезившегося оратора.

Далее, на пути в Кутаиси, грузинских писателей Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Нико Лордкипанидзе, Шалву Дадзиани, Александра Кутатели, Симона Чиковани, Бесариона Жгенти и вместе с ними меня (пусть не удивляется просвещенный читатель такому составу — непримиримо враждовавшие друг с другом в двадцатые годы «голубороговцы» и футуристы теперь уже выступали единым фронтом) ожидали незабываемые дни и ночи — РионГЭС, его строитель Владимир Джикия, храм Баграта и дружеские встречи на Габашвилевской горке.

...Мы очень жалели, что вместе с нами не было Георгия Леонидзе. Ведь накануне отъезда в Кутаиси мы вместе с гостями провели у него замечательный вечер.

Вообще, надо отметить, что Георгию Леонидзе был присущ один «недостаток» — безмерно влюбленный в Тбилиси, он крайне неохотно покидал его. Зато в самом городе он мог ночи напролет бродить по улицам, в ожидании рассвета, чтобы насладиться «горячим хаши, ароматными фруктами и только что вытащенным из тонэ — с пылу, с жару! — грузинским хлебом!»

Его гостеприимство не имело границ. Леонидзевская квартира в центре города, в самом начале улицы Мачабели, стала поистине «опасной зоной»: после какого-нибудь литературного вечера в Союзе писателей, расположенном в конце этой же улицы, мы нередко гурьбой вваливались к нему за полночь, и у знакомых дверей на втором этаже нас неизменно



встречала улыбка Пепико Леонидзе — несравненной хозяйки и кулинарши. Поздний гость никогда не мог бы заметить даже оттенка недовольства на ее лице или следов недосыпания. Пепико неизменно, в любое время дня и ночи, была гостеприимна, щедра, хлебосольна, готова выставить на стол все, что было в семье. А накрыв обильный стол, она и сама любила присесть и затянуть свою любимую грузинскую песню:

Любят матери детей,  
Матерей не помнят дети...

Пришельцев неизменно приветствовал на пороге и сам Георгий Леонидзе. Нахваливая сам себя — «Славный парень Леонидзе, честь ему и восхваленье!» — он не мешкая «брался за дело».

Георгий Леонидзе принадлежал скорее к поэтическому поколению двадцатых-тридцатых годов. Именно тогда созданы его замечательные стихотворения: «Ниноцминдская ночь», «Свидание кипчака», «Что же нам, поэтам, делать с этим утренним Тбилиси», «Песня первого снега», «Цесарка», «Уйдет тот стих и все возьмет с собой» и еще множество других жемчужин, ставших гордостью и красой грузинской поэзии.

Да, именно в молодые годы создал он все эти прекрасные строки, а затем, не скрывая горечи, написал:

Стих и юность — их разделить нельзя,  
Их одним чеканом чеканили...

Или еще:

Уйдет тот стих и все возьмет с собой  
Приметы нашей юности мятежной...

Да, тот стих ушел... Ушел наш Гогла, оставив в душе каждого из нас и свой светлый, ренессансный образ, и свои стихи... И мне осталось только своими строками вновь общаться с ним:

Как уход твой сказался:  
и осень,  
и ранняя темень,  
и измена небес,  
и агония солнца во мгле —  
будто в наших горах  
пролетел пастернаковский демон  
и всю прелесть Авчалы и Мцхеты  
унес на крыле...




Появлявшиеся в московских журналах и газетах переводы наших гостей, в первую очередь Бориса Пастернака, сделали имена некоторых грузинских поэтов — Паоло Яшвили, Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе, Симона Чиковани — известными делегатам Первого съезда писателей СССР еще до его начала. (Хотя их знали и раньше, благодаря замечательному стихотворению Сергея Есенина «Поэтам Грузии», «Ветру с Кавказа» Андрея Белого и другим произведениям крупнейших русских писателей.) А Паоло Яшвили был не просто известен, он и здесь, на многолюдном и многонациональном писательском форуме являл собой одну из самых заметных и колоритных фигур. Произошло это после того, когда между выступлениями Исаака Бабеля и Андрея Мальро на трибуну поднялся этот красивый представительный человек, завоевавший симпатии всего зала грузинской учтивостью и европейской обходительностью, и под громовую овацию всего зала обратился к зарубежным гостям съезда со словами приветствия — до него это никому не пришло в голову. А потом со своей неотразимой обаятельной улыбкой заявил: «Со дня сотворения мира не было случая, чтобы столько писателей радовались вместе...» Испытывал радость и гордость за него и я, один из самых молодых участников съезда, 24-летний поэт, попавший в число делегатов именно благодаря Паоло Яшвили, тому самому оратору, на которого сейчас были обращены взоры всего зала. После возвращения нашей делегации со съезда грузинская литературная газета сразу же опубликовала дружеский шарж: Паоло Яшвили с большим рогом в руке. Стихотворная подпись под шаржем принадлежала мне:

Паоло пригласил гостей  
Безрифменным шаири:  
Вино и воздух вам нальем  
В сей рог, наилучший в мире.

Паоло не обиделся на меня, наоборот...

Несмотря на все недостатки и скрытые цели этого съезда, особенно очевидные в наше время, когда многое тайное становится явным, выносятся на свет Божий, все же следует сказать, что на нем некоторые ораторы в полный голос заявили прямо с трибуны об истинном назначении литературы и искусства — и это в годы безраздельного господства «социального заказа». То самое истинное назначение искусства, которое в виде чеканной формулы определено Бердяевым:





«В творчестве снизу раскрывается божественное в человеке, от свободного начала человека, а не сверху, в творчестве сам человек раскрывает в себе образ и подобие Божье».

Не стану здесь заниматься рассуждением о других заслугах и достижениях съезда, о которых общественности давно известно. В числе главных его итогов — реабилитация классиков, когда в Доме Союзов в одном ряду с другими появился и портрет нашего великого предка Шота Руставели. Я испытал тогда чувство радости, гордости, счастья от встречи там, на севере, с его светлым ликом, чувство, которое вторично было мной испытано 35 лет спустя, на этот раз — на юге, в Палестине.

Хорошо известны и выступления грузинских писателей на съезде, также ставшие, говоря по справедливости, впечатляющей победой нашей национальной культуры, особенно (исправленный и переделанный, как я писал выше) доклад Малакия Торошелидзе. Но не об этом хочется рассказать мне здесь.

Вновь повторяю: в то время, особенно после съезда, кое-где стали поговаривать, что Сталин в те годы решил «вернуться» к Грузии, ее богатой многовековой культуре и искусству, ее традициям и культуре, ради каких-то собственных тайных интересов, чтобы поднять свой авторитет в глазах мировой общественности, продемонстрировав приверженность своим национальным корням, принадлежность к высококультурному и древнему народу.

Так или иначе, но в те дни грузинская литература оказалась в центре внимания писательского съезда, а следовательно, и всей мировой культурной общественности. И заслуга в этом принадлежала исключительно самой грузинской литературе. Просто наши писатели воспользовались представившейся им уникальной возможностью, что в результате оказалось, без сомнения, подлинно национальным, подлинно грузинским делом. С высокой трибуны съезда голос грузинских писателей разнесся по всему свету.

А тем временем в Грузии...

Малакия Торошелидзе был человеком, имевшим немало заслуг перед революцией и твердую марксистскую подготовку. Насколько я знаю, он был первым грузином, который встречался с Лениным, и, по всей вероятности, именно эта встреча предопределила его стойкие большевистские убеждения. После того, как по рекомендации партийных органов, о чем я уже говорил выше, в тридцатые годы его избрали предсе-



дателем Союза писателей Грузии, он, надо отдать ему должное, никаких литературных претензий не заимел (в этом отношении он оказался редчайшим исключением, поскольку все остальные партийные функционеры, прикомандированные к нам не только председателями, но даже и шоферами председательских машин, немедленно брались за перо). Он просто исполнял свой партийный долг и поручение. Малакия был человеком твердым, даже жестким, но честным, убежденным, идейным, как тогда говорили. При этом он бывал и наивным, и жалостливым, как ни удивительно сочетание подобных качеств в одном человеке.

Однажды после какого-то юбилейного торжества, на банкете в гостинице «Палас» поэты стали читать свои стихи. Я прочитал «Балладу спасения», в которой есть строки о кончине моего отца. Малакия Торошелидзе, возглавлявший застолье, сильно расчувствовался (верно, вино тоже сделало свое дело) и даже прослезился. После этого, когда в Союзе писателей он выходил из равновесия и по своему обыкновению начинал кричать на собеседника, кто-нибудь из писателей принимался бегать взад-вперед по холлу писательского Дворца и, в шутку изображая испуг, шептал: «Где Ираклий, позовите сейчас же на помощь Ираклия!»

Как раз в конце Первого всесоюзного съезда писателей с трибуны впервые за много советских лет прозвучали имена выдающихся деятелей XIX века из России и входивших в Союз республик, в числе которых с полным правом упоминался и Илья Чавчавадзе. В Грузии незадолго до этого развернулось новое, на этот раз особенно жестокое наступление на Илью. Надо ли говорить, что «вдохновителем и организатором» этой оголтелой кампании оказался все тот же Правитель республики, сконцентрировавший к тому времени в своих руках неограниченную власть, получивший возможность вершить в своей вотчине все, что ему заблагорассудится. Он уже вскарабкался на самую вершину пирамиды власти и, естественно, прибрал к рукам средства и рычаги для осуществления своего замысла. Атака на великого Илью началась книгами нескольких молодых «боевитых критиков», среди которых одна — «Битва за классиков» — даже удостоилась высокой чести и предварялась вступительной статьей самого Вершителя судеб (впрочем, справедливее было бы назвать книгу иначе: «Битва против классиков»). В ней огонь



был направлен против Симона Хундадзе, человека, выросше-  
го на идеях Ильи Чавчавадзе и Арчила Джорджадзе.

В молодые годы Симон Хундадзе примыкал к левому крылу социал-федералистов. После победы в Грузии советского режима он вступил в ряды большевиков, даже учился в Московской Коммунистической академии. К концу двадцатых годов, когда я был студентом Тбилисского университета, Симон уже завоевал здесь себе славу видного ученого-литературоведа и социолога. В университете я познакомился с ним. Впоследствии мы часто встречались в редакциях и издательствах, где он занимал руководящие должности. Ко мне он всегда относился подчеркнуто внимательно и тепло. Впрочем, скорее всего, он был таким со всеми, настоящий ученый-интеллигент, широко образованный, благородный и красивый, неизменно выдержанный и корректный.

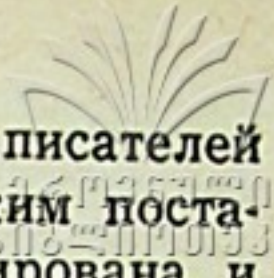
Огонь критики был направлен против, как тогда говорили, «недобитого федерализма» и, разумеется, Симон Хундадзе был в первой шеренге тех, кто оказался под прицелом.

В Тбилисском университете, где в те годы развернулась яростная кампания против «кондратьевщины» — старой профессуры, в Союзе писателей Грузии, в редакциях газет и журналов критика против Симона Хундадзе звучала безостановочно. В конце концов его отстранили от всех должностей и дел. Помню, как-то я столкнулся с ним в начале улицы Мачабели, где расположен Союз писателей. Симон шел, как всегда, красивый и степенный, с перекинутым через руку коверкотовым плащом. Он остановил меня и... Этот гордый и самолюбивый человек, мой любимый профессор, с которым я всегда ощущал разделявшую нас дистанцию, как обычно в отношениях студента к преподавателю, смущенно отвел взор и попросил у меня в долг три рубля. От неожиданности я так растерялся, что не смог вымолвить и слова.

Это случилось весной 1933 года. А тем же летом, в августе, когда его семья находилась на даче и он был в своем доме, в Ваке, совсем один, сердце не выдержало, и он замертво свалился с кровати на пол. Ему было только тридцать шесть лет. Тем летом и я остался в Тбилиси и одним из первых узнал о случившемся несчастье.

Если бы Симону Хундадзе довелось прожить еще хоть один год... До Первого съезда советских писателей... До времени, когда Илья Чавчавадзе, вся наша классика, были реабилитированы, и людей перестали преследовать за одно упоминание имени Ильи.





Несмотря на то, что Ассоциация пролетарских писателей в Грузии, как и по всей стране, известным апрельским постановлением ЦК ВКП(б) от 1932 года была ликвидирована и распущена, она все еще не прекращала свою многолетнюю борьбу за «литературную гегемонию». Так продолжалось вплоть до писательского съезда 1934 года. В качестве примера этого я могу припомнить здесь хотя бы такой факт. Первый Всегрузинский съезд писателей, состоявшийся через два месяца после апрельского постановления, в июне 1932 года, открывал один из секретарей бывшей Ассоциации пролетарских писателей, беллетрист Пантелеймон Чхиквадзе. В ту пору особенно активизировалась группа, как их тогда называли, «левых вульгаризаторов», которая, основываясь на сталинской теории «обострения классовой борьбы в стране», яростно боролась не только против современной буржуазной литературы, но — особенно оголтело — против классиков, в том числе и даже в первую очередь — против Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели. АПП на этом съезде распалась организационно, не получив в проводимой «группой вульгаризаторов» литературной политике поддержку большинства. В числе тех, кто принципиально выступил против них, оказался и известный партийный теоретик и боевой критик, признанный многолетний лидер Грузинской ассоциации пролетарских писателей, сам Бенито Буачидзе. Поскольку эта группа объединяла почти исключительно литературных критиков, мы их называли армией без рядовых. В их числе находился один-единственный поэт, которому критики-вульгаристы так заморочили голову, что он принялся один за другим сочинять грубые стихотворные пасквили против классиков. (Например, обыгрывая тот факт, что тогда в зале заседаний нашего писательского Союза висело два больших портрета — Ильи Чавчавадзе и Эгнатэ Ниношвили, он выдал такое двустишие:

**Весь зал расколот надвое, чтоб знали ты и я,  
Где с нами — наш Эгнатэ, где с ними их Илья.]**

Все это, разумеется, была никакая не литературно-художественная, не писательская, а чисто политическая, чисто партийная борьба, а порою просто состязание амбиций, гонка за должностями между современниками. Подобные междоусобные стычки в те годы, как правило, оканчивались активным вмешательством правительственных, административных, карательных органов, что не имело ничего общего с извест-



ной по истории литературной борьбой так называемых «отцов» и «детей».

В связи с этим (точнее говоря, вне всякой связи с этим) хочу вспомнить здесь кое-что из отношений между «отцами» и «детьми» в литературе, характерное именно для нашего времени, именно для нашей эпохи. Как известно, новая писательская генерация проявила резко критическое отношение к классикам еще в дореволюционное время. В том числе и «голубороговцы» уже в первых своих манифестах, с первых же шагов ясно декларировали свою позицию в этом вопросе. Уже после революции, в условиях советской действительности, солидаризировались с ними в этом вопросе молодые представители так называемой группы «Левизна» и «Пролетарские писатели» (к сожалению, мы, совсем незрелые тогда литературные юнцы, стараясь не отстать от старших, все понемногу грешили в этом вопросе). Но сегодня следует категорически заявить, что никто — ни из дореволюционного литературного поколения, ни из поколения двадцатых — начала тридцатых годов — даже вообразить себе не мог тогда, что эта литературная борьба в тридцатые годы примет в конце концов такую уродливую, чисто политическую, партийную, административную форму. И тем более, что она потребует человеческих жертв!

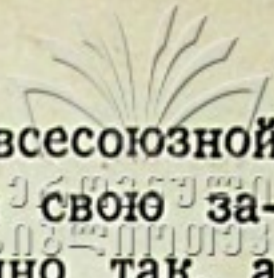
Поэтому и произвело на грузинскую делегацию на Первом съезде писателей СССР в Москве такое большое, неизгладимое впечатление неожиданное появление в Колонном зале Дома Союзов портрета Шота Руставели.

Помню, на том заседании мы с Симоном Чиковани сидели рядом друг с другом, у обоих на глазах были слезы, и оба не скрывали своего волнения, слушая громовую овацию всего съезда.

С Симоном Чиковани меня связали тесные дружеские отношения с первых же дней вступления на литературную арену. Он был ненамного старше меня, и наши литературные и жизненные интересы тоже были очень схожи. В те годы нам вместе приходилось тянуть лямку практической литературной работы. А на его свадьбе я был даже посаженным отцом. На этом же съезде, когда все члены грузинской делегации, какое бы литературное направление они не представляли, оказались сплоченными и едиными, наша дружба с Симоном окрепла еще больше.

Апрельским постановлением 1932 года был создан организационный комитет по подготовке Первого съезда писате-





лей СССР, который выработал проект будущей всесоюзной писательской организации. И наш съезд выполнил свою задачу — организовал Союз писателей СССР (именно так, а не «Союз советских писателей», где слово «советских» резало слух не только многим представителям национальных литератур, но, насколько я помню, против него выступил и А. Фадеев, по предложению которого определение не было признано необходимым и обязательным). Впрочем, теперь уже анахронизмом стал и СССР. После этого во всей стране, в том числе и в Грузии, были распущены все существовавшие прежде писательские объединения и организации.

Считалось, что это должно способствовать созданию общего фронта всех писателей страны, их идейному и творческому объединению.

Симон Чиковани не только своим творчеством, но и практической деятельностью представлял собой одну из заметнейших фигур грузинской литературы тридцатых годов. На протяжении многих лет он возглавлял в Грузии группу «Левизна». (Как известно, эта литературная группа с первых же дней своего основания прочно стояла на позициях советской действительности.) Он глубоко разбирался во всех нюансах современного литературного процесса, поэтических проблемах, новаторских тенденциях художественного мышления, что выгодно отличало его от поэтов более старших поколений (за исключением Тициана Табидзе). Симон Чиковани прекрасно знал творчество прославленных русских авангардистов двадцатых годов, теоретические работы так называемых «формалистов», особенно «опоязовцев» («Общество по изучению поэтического языка»). Он широко пользовался в литературных диспутах наблюдениями и обобщениями их главного лидера Б. М. Эйхенбаума. Его выступления неизменно вызывали интерес и привлекали внимание не одних литераторов. Насколько я помню, у Симона Чиковани было подготовлено выступление и на этом съезде, но ему почему-то не предоставили слово.

После Первого всесоюзного съезда писателей слава о некоторых грузинских писателях, и в их числе Паоло Яшвили, еще больше возросла и в Грузии, и за ее пределами.

Именно в те годы еще более прочный и систематический характер приобрели наши дружеские контакты с деятелями литературы и искусства из России и других республик. Мы верили, и эта вера сохранялась на протяжении многих лет, вплоть до сего дня, что наша дружба приносила и приносит



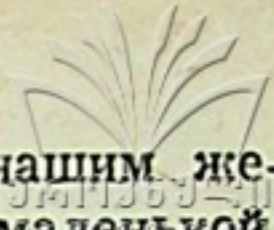
добрые плоды для Грузии, для грузинского дела. Я и сейчас продолжаю верить, что моя страна должна иметь добрых друзей в разных краях страны и мира. Именно в этом состоит одна из святейших обязанностей писателя. «Кто друзей себе не ищет — самому себе он враг», — завещал нам великий предок. Та же мудрость содержится в восточной пословице: «Позаботься о приобретении друзей, враги найдутся сами».

Эта заповедь, дошедшая до нас через века, пережившая все испытания, стала в свое время лейтмотивом (идеей, а не только индивидуальными «добрыми намерениями») встречи грузинской интеллигенции с автором бессмертного гимна дружбе и преданности «19 октября», в ортачальских садах; взаимоотношений Ильи Чавчавадзе с Уордропами, переводчиками «Витязя в тигровой шкуре» на английский язык... Сколько еще подобных примеров можно вспомнить из нашей истории. Эта благородная традиция продолжалась и в XX веке, — если говорить только о фактах, связанных с именем Шота Руставели, то достаточно обратиться к поездке в Тбилиси и Кутаиси Константина Бальмонта, одного из первых переводчиков «Витязя» на русский, где он в полной мере ощутил теплоту и дружелюбие нашего народа ко всем, кто желает нам добра и благоденствия.

Да, мы так верили, так жили. Этой верой была пронизана дружба Шалвы Дадиани со знаменитым русским писателем Алексеем Толстым; Константинэ Гамсахурдиа с большим мастером армянской исторической прозы Дереником Демирчяном; дружба грузинских поэтов с русскими собратьями по музе, с кудесниками армянского стиха Аветиком Исаакяном и Ованесом Туманяном. Таких примеров можно вспомнить множество!

Позднее, в тридцатые годы, эти взаимоотношения еще более расширялись. Все мы в меру своих сил активно участвовали в этом благородном процессе. Нашим искренним желанием было превратить в друзей нашего народа, нашей культуры всех выдающихся людей из всех стран мира. И в том числе, естественно, из России, с которой нас связывали многовековые отношения, — и если на государственном, политическом уровне мы видели немало осложнений и предательства, то лучшие представители русской культуры, ее прогрессивные деятели всегда искренне стремились к дружбе с нами, вместе с нами желали свободы и независимости нашей Родины. Переводы произведений грузинских писателей на русский язык становились тем мостом, благодаря которому они





получали широкий путь в мир. Самым заветным нашим желанием было, чтоб вся планета узнала о нашей маленькой, затерявшейся в горах Кавказа стране, узнала о грузинском гении, грузинском деле. Именно это считали мы самым главным и первоочередным нашим делом. И именно литературе, искусству принадлежало здесь первое слово.

Творческие и дружеские отношения с одним из самых выдающихся русских поэтов XX столетия Борисом Пастернаком у грузинских поэтов завязались уже в начале тридцатых годов. В апреле 1931 года Паоло Яшвили приглашал его в Грузию отдохнуть, ознакомиться с ее достопримечательностями: «Нас всех очень обрадовало Ваше решение приехать в Грузию. Мы к этому готовы, и вот наша наметка...» Далее он предлагал Борису Леонидовичу маршруты будущей поездки: курортные места — Коджори и Манглиси, Абастумани и Кобулет, Военно-Грузинская дорога, поездки в Армению, на озеро Севан, в Кутаиси и Шови... Паоло даже выразил намерение встретить Бориса Леонидовича во Владикавказе: «Это, говоря по-пушкински, «наслаждение неизъяснимое» («Мир Пастернака», стр. 144).

Так был подготовлен приезд в нашу страну переводчика Николоза Бараташвили и Важа Пшавела, автора «Стихов о Грузии» Бориса Пастернака.

Уже через несколько лет в 1937 году в Москве появился на свет первый небольшой сборник пастернаковских блистательных переводов стихотворений грузинских классиков и современных поэтов. Эта книга в наши дни стала библиографической редкостью. В ней, рядом с Важа Пшавела, помещены переводы произведений всего нескольких современных поэтов. Счастлив, что среди них нашлось место и моему стихотворению, написанному в молодости, — «Баллада спасения».

Наверное, я рискую утомить читателя, но все же считаю необходимым вспомнить здесь, вновь перескочив через годы, историю исключения Бориса Пастернака из Союза писателей СССР. Это происходило много лет спустя, в 1958 году, когда за «Доктора Живаго» Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. В свое время в Грузии по поводу этого исключения родилось немало пересудов и сплетен. И я в своей книге воспоминаний «Вчера, позавчера», вышедшей в свет в 1989 году, в той части, которая касается Пастернака, в сноске отмечал: «Между прочим, после этого исключения, как это было принято в годы культа личности и хрущевского правления, от нас, республиканских Союзов писателей, вместе



с другими творческими союзами, незамедлительно потребовали «высказать свое отношение», но об этом — позже, в других воспоминаниях». (Так же, как в свое время заставили «высказать свое отношение» к Григолу Робакидзе его ближайших друзей. Когда он покинул Грузию, вынуждали их объявить его изменником Родины, предать анафеме. Об этом я уже рассказывал в этих воспоминаниях выше).

Итак, будем считать, что именно сейчас, именно здесь пришло время рассказать об этой истории подробно и объективно.


В те дни в московской прессе была широко развернута массовая кампания. Писатели, деятели культуры, «простые труженики» клеймили и проклинали Пастернака. И мы тоже по заданию из центра должны были подключиться к этому адскому оркестру. Недавно я извлек из своего личного архива номер нашей грузинской «Литературной газеты» тех дней, в котором напечатан отчет о заседании президиума Союза писателей Грузии от 29 октября. Вот что написано в газете: «На заседании выступили...» (Перечислено 15 фамилий грузинских писателей, среди которых были и самые близкие друзья Бориса Пастернака).

На заседании пришлось председательствовать мне как тогдашнему руководителю Союза писателей Грузии. Именно так значилось в телеграмме, отправленной в Москву. Вот что заявил я тогда — привожу слово в слово выписку из той же газеты: «28 октября состоялось заседание президиума правления Союза писателей Грузии, в котором участвовали представители творческих организаций республики и прессы. На заседании был рассмотрен вопрос о поведении Бориса Пастернака, несовместимом с именем советского писателя. По этому вопросу с информационным сообщением выступил первый секретарь Союза писателей Грузии Ираклий Абашидзе, который познакомил присутствующих с ходом обсуждения этого вопроса на заседании бюро оргкомитета Союза писателей СССР и президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР».

Вот и все что было! Я ограничился «информационным сообщением»! Примерно таким же способом попытались выйти из положения все участники заседания, все пятнадцать выступающих.

Говорят, что О. Ивинская, близкий друг Бориса Пастернака, в книге своих воспоминаний, изданной в Нью-Йорке, поведала своим читателям, как сильно огорчило Бориса Леони-





довича известие об этом собрании, полученное из Грузии. Надо ли говорить, что «позиция» его грузинских друзей, как она была изложена в прессе, не могла не расстроить поэта. Но я думаю, что человек такого огромного жизненного опыта, приобретенного за много лет советской действительности, каким был Борис Пастернак (вспомним хотя бы историю, связанную со Сталиным и Мандельштамом, ставшую уже достаточно широко известной в наши дни), наверное, огорчился, но особенно не удивился. И, насколько я знаю из рассказа о его последней встрече с одним из грузинских писателей, действительно так и было. Огорчился, но не удивился...

Трагедия, обрушившаяся на наши головы под конец тех проклятых тридцатых годов, — сегодня об этом уже можно говорить в полный голос — тогда впервые подкосила во всем мире веру в социалистическую и коммунистическую идеологию. Что же касается разгоревшейся вскоре Второй мировой — или Великой Отечественной — войны, то в ней весь народ, все мы объединились, сплотились, мы воевали не ради защиты лозунгов социализма и коммунизма, даже не ради Сталина, хотя с его именем шли в атаку солдаты, а во имя спасения родной земли. Народ сражался не под знаменем Маркса, Энгельса и Ленина, а под боевыми стягами Александра Невского, Александра Суворова и Георгия Саакадзе.

Война, можно сказать, стала одним из первых отголосков «погребального звона», донесшегося из тридцатых годов.

Многие наши соотечественники окончательно убедились, что, возможно, социалистический рай и удастся создать на какой-то другой планете, но только не у нас, на грешной земле, где обитают народы, состоящие из таких людей, как в Советской стране, где это неосуществимая утопия.

(Сейчас порой мне даже представляется, что, возможно, это и не был первый отголосок... Сейчас уже трудно поверить в то, что двое вождей русской революции, после семилетнего господства первого из них и почти тридцатилетнего безраздельного владычества второго, уходили из жизни, не разуверившись в своих идеалах, — первый в Горках в своей собственной постели, а другой, генералиссимус, на голом полу на «Ближней даче»).

— Ты чересчур шумишь, сынок Паоло, чересчур шумишь! — говорил, словно предчувствовал судьбу сына, отец Паоло Яшвили — Джибо незадолго до своей кончины. А шу-



меть, выделяться из общей серой массы, тем более «чересчур» выделяться, в те годы имел безраздельное право только один человек в республике — Правитель. Это, к несчастью, стало обязательным правилом нашей общественной морали тридцатых годов.

Из многочисленной родни Паоло Яшвили в наши дни в живых остались считанные единицы. В Тбилиси живут его единственная любимая дочь Медея, сотрудница грузинской энциклопедии со дня ее основания, племянник, сын сестры, Вахтанг Модебадзе, известный грузинский винодел, и дети брата — Нодар и Отар Яшвили. Не очень близким, но все же его родственником являюсь и я, по линии моей матери, девичья фамилия которой была тоже Модебадзе. Сестра Паоло — Паша, супруга Платона Модебадзе, приходилась мне теткой.

После самоубийства поэта все его близкие родственники подверглись преследованиям, а племянник Нодар пятнадцать лет провел в ссылке на Дальнем Севере. В пору моего студенчества, в конце двадцатых, я какое-то время жил на квартире моей тети Паши, на бывшей Губинской улице, и тогда особенно сблизился с младшим братом Паоло — Тупиа (Иванэ) Яшвили. Наша дружба продолжалась до последних дней жизни этого замечательного человека. В этой семье с Паоло мне приходилось сталкиваться не очень часто, больше мы встречались на всяких публичных собраниях и заседаниях, в Союзе писателей, и потом, после заседаний, на «третьем отделении», которыми они неизменно заканчивались. Доводилось нам вместе бывать и в творческих командировках, особенно когда я возглавил после него секцию поэзии Союза писателей.

Не так давно газета республиканского центра литераторов «Литература и др.» в ноябрьском номере за 1990 год опубликовала обширный материал под названием «Из архива Сандро Эули». (В те годы Сандро Эули работал секретарем Союза писателей и по совместительству возглавлял писательскую партийную организацию). Там цитируется протокол партийного собрания за 17 ноября 1937 года, где есть среди прочего такое место:

«Тов. Самсонидзе говорит, что следует оздоровить аппарат редакции и Асатиани [Леван Асатиани, — И. А.] должен быть освобожден от секретарства в «Мнатоби». Ясно, что Ираклий Абашидзе находился под влиянием «голубороговцев»... И



далее: «У Ир. Абашидзе наблюдались тенденции отрыва от пролетарской литературы, но сейчас у него намечается поворот к актуальной тематике».

От влияния «голубороговцев» к тому времени целиком избавились не только Ираклий Абашидзе, но и сами «голубороговцы». И тем не менее, я должен запоздало, весьма запоздало высказать слова благодарности за «отпущение грехов» бедному Самсонидзе, который вскоре сам стал жертвой тех черных лет.

Влияние «голубороговцев» на мое творчество, если не считать нескольких написанных в те годы лирических, «безыдейных» стихотворений, заключалось в том, что я поддерживал дружеские отношения как с их лидерами, так и с их непримиримыми оппонентами на трибуне, представителями «Левизны», постоянно ходил хвостом за ними, и они, мои старшие друзья и наставники, несмотря на то, что в полемике я с юношеской бескомпромиссностью «нападал» на них, снисходили до равноправной дружбы со мной. (Хотя, не таким уж «старшим поколением» они и были по сравнению со мной, всего-то на десять-пятнадцать лет старше, а «левые» поэты и того меньше).

Я иногда думаю сейчас, как бы он жил, чем бы существовал, если бы Господь Бог даровал ему дожить до конца отведенного жизненного срока. Ведь он был совершенно неприспособлен для практической жизни. В молодые годы он существовал «за счет Джибо», как не раз шутливо признавался сам. Геронтий Кикодзе вспоминал: «Он был избалован своим состоятельным отцом». Хотя многие поэты в ту пору вели сходный образ жизни, без зазрения совести пользовались средствами кого-нибудь из родственников или подрабатывали на невысоких должностях в каких-нибудь учреждениях. (Тициан Табидзе, например, живя в Тбилиси, числился директором Казбегского музея). Болезнь карьеризма, жажда руководящих кресел распространилась позже, в тридцатые годы, после ликвидации НЭПа.

Если прежде только друзья-единомышленники и соратники из «Голубых рогов», то теперь уже многие поэты, и не только грузинские, посвящали свои стихи Паоло Яшвили. И он с такой же щедростью отвечал им. Подобная поэтическая «перекличка» произошла у него с замечательным украинским поэтом Миколой Бажаном. Паоло постоянно выступал ак-



тивным организатором и участником Дней грузинской литературы в Ленинграде, Минске, Баку..

Еще больше прославилось его имя после того, как Правительство республики собственноручно включил его в состав грузинской делегации, которая отправилась в Москву, к Сталину, на торжества в связи с 15-летней годовщиной установления советской власти в Грузии. Тогда эта дата считалась праздничной и отмечалась с большой торжественностью. Хотя, несомненно, Паоло был одним из первых, кто ясно сознавал истинный смысл происшедшего в феврале 1921 года и его значение для судеб Грузии. Так или иначе, но из Москвы он вернулся с орденом Трудового Красного Знамени на груди. (Впрочем, в состав делегации не был включен Галактион Табидзе, хотя и его заочно наградили орденом Ленина).

Яшвили, говорят, очень понравился тогда Сталину. И это легко понять: очутившись в родной стихии, Паоло был поистине неотразим. Вождь народов переиначил на грузинский лад имена Наты Вачнадзе и Паоло Яшвили и, обращаясь к ним, называл Нато и Павле. Молотов даже подарил Паоло свою фотографию с дарственной надписью, а восхищенный Ворошилов обратился к нему с большим спичем. В архиве племянника Паоло — Вахтанга Модебадзе сохранилась групповая фотография участников той встречи.

Все как будто шло прекрасно.

Но где-то вдалеке, на горизонте, собирались черные тучи, и уже через какой-то год они затянут весь небосклон над нашими головами.

«Шумишь, сынок, чересчур шумишь...»

Слишком «нашумело» и имя Владимира Джикия. Если недовольство старых большевиков (каждый из которых в отдельности считал революцию своей заслугой и больше ничьей): — Кто этот выскочка, откуда взялся, что сделал для нашего дела? — раздражало и нервировало Правительство республики, то имени Владимира Джикия он просто не мог слышать. Джикия был и заслуженным революционером, и строителем новой жизни. Он, можно сказать, ни во что не ставил Правительство, не считался с ним, не шел на поклон. Джикия в случае любой нужды напрямую связывался с центром, где у него было множество друзей и знакомых. Так что местное грузинское правительство ему было, можно сказать, без надобности.

В те времена появились, так сказать, «беспоместные помещики», «новые феодалы», чьим богатством было только их




имя, известное всей стране. К числу таких, кроме В. Джикия, принадлежал, скажем, Георгий Элиава, получивший образование за границей и недавно возвратившийся в Грузию, популярнейший ученый-бактериолог, красавец и ловелас (так прозвал его Паоло Яшвили), который основал в предместье Тбилиси, на Мцхетской дороге, большую лабораторию-бактериофаг, научное учреждение для Грузии новое и невиданное, где создал, можно сказать, свой собственный маленький мирок, независимый от окружающей действительности; большой славой пользовался и известный грузинский режиссер Александр (Сандро) Ахметели, которого еще в 1931 году во время триумфальных гастролей в Москве театра Руставели, Серго Орджоникидзе представил Сталину, после чего он, увы, загордился, перестал считаться с кем бы то ни было... Было еще несколько подобных самостоятельных «феодалов», и в их числе, конечно, Паоло Яшвили, которого, к несчастью, со Сталиным познакомил сам Правитель республики. Возникло опасение, что подобно Нестору Лакобе, Паоло и Сандро (тем более, что они были ближайшими друзьями) могли напрямую связаться со Сталиным, в обход Правителя республики. Кем бы он в таком случае стал в глазах окружающих и своих собственных?!

Одной из основных характерных черт тридцатых годов было господство железной субординации, заставлявшей вспомнить эпоху феодализма и полностью отрицавшей демократизм.

(Я прямо-таки не поверил своим глазам, когда в декабре 1990 года прочитал в опубликованном с продолжением в нескольких номерах газеты «Известия» материале, будто человек, приговоренный в 1953 году к высшей мере наказания, некогда был, оказывается, чуть ли не первым, или, во всяком случае, одним из первых советских руководителей, предпринимавших тайные попытки демократизации и гуманизации в стране, то есть тех самых двух устоев, которые позже мы называли фундаментом перестройки).

Среди тбилисской интеллигенции все чаще слышались разговоры о том, что в последнее время, по слухам, крайне обострились отношения между Правителем республики и Владимиром Джикия. И без того достаточно напряженные взаимоотношения осложнились еще какими-то новыми обстоятельствами. Нагнетание ситуации, разумеется, не могло привести ни к чему хорошему для Володи, и не только для него само-





то, но и для его близких, и, в первую очередь, для Паоло Яшвили. Особенно разгневало Правителя республики, когда до его ушей дошел (не сам дошел, конечно, — донесли!) злой и остроумный стихотворный экспромт Паоло «Была страна Иберия», сочиненный по-русски. В нем высмеивалась переходившая всякие рамки страсть Правителя республики к амурным приключениям и его полная аморальность в этих делах, о чем тогда в Тбилиси говорили на каждом углу. В своих воспоминаниях я обойду эту скользкую тему, тем более, что о многом мне, как и другим, становилось известно на уровне сплетен и слухов. Реакция Правителя оказалась весьма сходной с реакцией Вождя всесоюзного масштаба на стихотворение о нем Осипа Мандельштама. Руководитель Грузии, включив по собственной инициативе Паоло Яшвили в состав делегации в Москву, посчитал его «своим человеком», а он, неблагодарный, по-прежнему вел дружбу (и не считал нужным скрывать это) с такими людьми, как Джикия, Элиава и даже со старым большевиком неким Агниашвили, который к тому времени уже был объявлен врагом народа. Более того, Паоло Яшвили месяцами пребывал в Москве по командировке Джикия, как представитель стройки РионГЭСа.

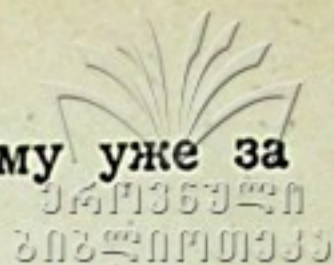
Грозовые тучи все ближе и ближе подступали к тому клочку неба, под которым был рожден Паоло Яшвили.

Хотя всем тогда казалось, что опасность угрожала скорее Константиноэ Гамсахурдиа, но буря разразилась над головами Паоло Яшвили и Михаила Джавахишвили. Никто не мог предвидеть такого поворота событий. Михаил Джавахишвили всего год назад тоже был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Передавали, что когда позвонили ему в дверь, он с наивным удивлением сказал незванным гостям: — Но я ведь орденосец! И действительно, в те годы Михаил Джавахишвили был человеком принятым и признанным. Что говорить о его славе среди читателей, особенно после появления на свет «Арсена из Марабды». В те годы он считался грузинским романистом номер один — и официально и неофициально. На Первом всесоюзном съезде писателей Михаил Джавахишвили, как и Паоло Яшвили, не только был избран в правление Союза писателей СССР, но и вместе с председателем Союза писателей Грузии Малакия Торошелидзе был введен в президиум. (Надо ли повторять, что этот вопрос был предварительно согласован, если не решен, непосредственно с грузинским руководством):

15 мая того злосчастливого года Правитель республики с



трибуны произнес: — Пора Паоло Яшвили, которому уже за сорок, взяться, наконец, за ум.



По всему было видно, что судьба поэта уже решена бесповоротно, его ничего не могло спасти, даже выступление (вместе с другими известными грузинскими писателями) на митинге в самом начале того трагического года, когда и Джикия, и Элиава были уже репрессированы (см. журнал «Мнатоби», 1937, № 1—2). Точно так же как его стихотворение с критикой французского писателя-антикоммуниста Андре Жида (коммунизм и антикоммунизм здесь уже были ни при чем).

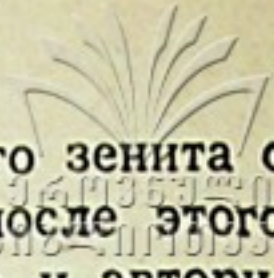
Ни во Дворце писателей, ни в его дворе нельзя было услышать в тот день громкого голоса. Встретившись друг с другом, писатели лишь перебрасывались шепотом парой слов и тотчас боязливо расходились. Шептались больше о Нико Лордкипанидзе, которого накануне, на судебном процессе в Батуми назвал своим другом и соратником обвиняемый Григол Лагидзе, деятель времен меньшевистского правления. Нико Лордкипанидзе молча стоял тут же. Паоло Яшвили появился в Союзе писателей ближе к полудню. В руках он держал завернутое в газету, разобранное свое знаменитое ружье «Лебо» (которое в один прекрасный день чуть не подарил Сергею Есенину, если бы тот, смутившись, не пообещал клятвенно купить себе точно такое сразу по приезде в Москву).

— Относил продавать, но в Союзе охотников мне предложили за него гроши, — объяснил он, отдал заведующей буфетом Союза писателей Рипсимае долг 7 рублей и ушел. Никто не обратил внимания, что уходя он не держал в руке никакого свертка, покинул Дворец писателей без ружья.

Упоминалось в пересудах-перешептываниях и имя Паоло Яшвили, которого, как всем стало известно, в те дни неоднократно вызывали в высокие учреждения, откуда он возвращался безмерно взволнованным и возбужденным. Никто не знал, о чем шла речь в его беседах с Правителем республики; разговор же, по всему судя, был крайне суровым и категоричным; об этом можно судить и по последним, написанным в канун самоубийства его письмам к жене и дочери. Все опасались, что после Владимира Джикия и Георгия Элиава может наступить черед Паоло Яшвили, но никто не в состоянии был хоть чем-то помочь ему. Впрочем, о том, чтобы прийти на помощь попавшим под подозрение в те черные годы нельзя было и мечтать.

(Этот террор можно назвать террором века, начался он





еще в 1905-м и в последующие годы и достиг своего зенита с убийством Ильи Чавчавадзе. Можно сказать, что после этого он вообще не прекращался. Борьба против «идолов» и авторитетов, агрессивный нигилизм расправили крылья над страной. Воцарился синдром страха, самоспасения, стремление укрыться, не вмешиваться ни во что. Один пример: супруга Ильи Чавчавадзе еще двадцать лет прожила после той всенародной трагедии, она, как известно, скончалась в 1927 году. Что мы знаем об этих годах? Кто заботился о несчастной женщине на протяжении всех этих двадцати лет? Кто, чем и как помогал ей? Ведь тогда еще жива была великая грузинская интеллигенция XIX—XX века, и среди них близкие друзья Ильи Чавчавадзе! Наверное, кто-то помогал и поддерживал, иначе и думать не хочется, но, как видно, строго конспиративно. Тайно. Только Тициан Табидзе в 20-е годы осмелился поднять вопрос об оказании помощи Ольге Тадэозовне).

Или, может, никто из грузинских интеллигентов не ведал о существовании Бербичашвили? Но ведь я сам, еще в бытность студентом, не раз слышал от своего дяди (мамино брата), одного из основоположников в Грузии научного европейского виноградарства и виноделия, профессора Константина Модебадзе: почему никто не обращает внимания на этого человека, что ходит и на весь свет хвастает, князя Илью Чавчавадзе, мол, я собственноручно на тот свет отправил?! Но разве кто-нибудь из грузинских интеллигентов посмел бы тогда поднять этот вопрос? Мой дядя в девятисотые годы учился в Швейцарии и хотя, вернувшись, во многом из того, что было связано с убийством Ильи Чавчавадзе, сумел разобраться, все же о многих обстоятельствах не имел полного представления.

В тот вечер, идя на собрание в Союз писателей, я повстречал его на площади Свободы, на углу улицы Кирова — в любимой белой «толстовке» и парусиновых туфлях. Я шел в сторону Союза, он — обратно.

— Хотел напоследок немного прогуляться по Руставели, — сказал он поздоровавшись. (Я думал тогда, что он имел в виду «напоследок» до начала собрания!) Затем повернулся и пошел со мной. Паоло неузнаваемо изменился, и в этом не было ничего удивительного: столько ему пришлось перенервничать и пережить в эти дни. Неожиданно он схватил

---

\* Убийца Ильи Чавчавадзе.



меня за рукав и своим неповторимым басом спросил: — Не боишься идти со мной рядом? Я удивленно посмотрел на него. — Нет, не обижайся, но вчера, когда ты возвращался от Бабо, я выглядывал в окно, а ты сделал вид, что не заметил, не поздоровался. (Моя сестра жила на улице Джапаридзе\*, рядом с Паоло — он в № 7, а она в № 5-м. И я, тогда еще человек холостой, часто ходил к ней обедать). — Что ты такое говоришь, Паоло, какой страх, вот ведь мы идем рядом! — Нет, я докажу всем, что не трус, всем, всем, и тем тоже...

Я тогда не догадывался, кого он имел в виду — высших республиканских руководителей, с которыми в те дни вынужден был против воли часто встречаться, или своих уже репрессированных и погибших друзей. Он весь дрожал от возбуждения, говорил бессвязно, поэтому наш разговор оказался каким-то рваным, отрывочным. Я повторял одну и ту же фразу: — Разве кому-то еще нужно доказывать, что ты не трус! А он в ответ твердил свое: — Нет, я докажу, и вам, и тем...

Мы пришли в Союз, когда собрание уже началось. В зале заседаний было не особенно многолюдно. Пришли только писатели, рассматривался вопрос о политической бдительности. В гробовом молчании выслушивали собравшиеся представители вышестоящих органов.

Какое-то время он сидел в зале, еле сдерживая волнение, потом не выдержал и вышел. Прошло не так уж много времени и вдруг — монотонный гул дежурного доклада разорвал страшный грохот. Такой я слышал позже, только в дни Второй мировой, при воздушных бомбежках, неизменно вспоминая при этом о роковом выстреле на втором этаже Союза писателей. Оба ствола его верного «Лебо» выстрелили одновременно, любимое ружье Паоло, к сожалению, как на охоте, и на сей раз не дало осечку...

В тот год,

когда

над Родиной твоей

Дух Каина витал и возвышался,

Ты жизнь свою окончил...

Эти строки были написаны мною еще совсем молодым человеком, о котором в воспоминаниях, напечатанных в газете «Сахалхо ганатлеба» («Народное образование») в августе

---

\* Сейчас эта улица носит имя Паоло Яшвили.



1989 года, педагог Тенгиз Мдивани писал: «Там же, в углу стоял и рыдал, не стыдясь ничего...». Я тогда чуть не задохнулся от слез, если бы не пришли на помощь те, кто сейчас стали «доброжелателями» и «очевидцами».

Понимаю, читать об этом нелегко. Но читателю предстоит еще более тяжкое испытание. До сего дня нигде не публиковались последние письма Паоло Яшвили к жене и дочери, написанные накануне того трагического дня, 23 июля. Они только сейчас становятся доступными, благодаря разрешению дочери Паоло, Медеи Яшвили<sup>1</sup>.

«Моя дочурка, моя радость и счастье, Медея!

Прости.

Умоляю тебя, прости мне эту величайшую вину перед тобой, перед всей нашей страной и народом.

Я не спал всю ночь, глядел на тебя спящую, но решение покончить с собой уже было принято, и даже ты не смогла спасти меня.

Никого не вини в моей смерти. Ты вырастешь, задумаешься над моей судьбой и убедишься, что мне лучше было умереть, ты была бы еще несчастнее, если бы я остался в живых. Люби маму и всех моих близких, они ни на минуту не оставят тебя и хоть немного облегчат твоё сиротство.

Не могу больше писать.

Прощай, дочурка.

Медея, Медея, прощай.

Учись, трудись, всегда говори правду, постарайся стать достойной дочерью своей страны, люби родину, никогда не забывай своих близких и своего отца.

Безмерно любящий тебя ОТЕЦ.

22.VII.37».

«Дорогая, любимая Тамара!

Прощай. Перед смертью чувствую особую любовь к тебе. Рад твоим успехам в институте и уверен, что ты будешь полезным человеком для нашего общества. Береги здоровье, лечись. О Медее нечего тебе писать, я убежден, что ты из нее сделаешь настоящего человека.

Причиной моей смерти стала невозможность соединить имя поэта с теми оскорблениями, которые мне нанесли люди, с которыми я дружил и которые действительно (я в этом вполне убежден) оказались врагами грузинского народа.

<sup>1</sup> Медея Яшвили скончалась в марте 1992 г. (Ред.).



Тебе будет очень трудно, но мужайся, я убежден, тебе помогут воспитать нашу дорогую и горячо любимую дочь, наше счастье и радость Медею.

Когда выйдешь замуж, старайся, чтобы Медея не охладела к моим родным и близким.

Прости мне мои ошибки,

я тебе все прощаю.

Целую крепко, крепко.

Твой искренний друг

П. Яшвили.

Умираю с каким-то светлым чувством, и поэтому верю, что ты и Медея перенесете горе. Ты кое-что заметила, но я тебя смог успокоить. Береги себя и Медею. Дружи с Пашей и моими братьями. Привет Н. Мих. и Георгию Ильичу.

Паоло».

После этих строк читателю очень трудно будет вновь следовать мыслью за моими воспоминаниями. И я здесь закончу... Закончу тем, чем начал статью о Паоло Яшвили еще в пятидесятые годы, когда были реабилитированы три наших безвременно погибших грузинских писателя: «Паоло Яшвили, словно ему вечно не хватало времени, еще не подключил свою поистине неиссякаемую энергию к линии высокого напряжения, или, говоря языком наездников, не дал поводья коню, сдерживался. И если порою отпускал повод, то напоказ, для куража, чтобы поразить и удивить зрителей; и сразу же поднимал скакуна на дыбы — еще успеется! Он избегал самозабвенного поэтического уединения, не мог поступиться повседневной жизнью... Стих Паоло Яшвили напоминал обломок руды, извлеченный из карьера в качестве образца, или пробу вина из винного погреба...».

Колокола тридцатых звонят над моей головой...

Перевод Эдуарда ЕЛИГУЛАШВИЛИ



Марина КШОНДЗЕР

## ГРУЗИЯ В ПОЭЗИИ Б. ЛИВШИЦА

Поэзия всегда способствовала взаимопониманию между людьми и даже между народами. Освоение поэтической духовности нации помогает проникнуть в мировоззренческие основы той или иной культуры и тем самым способствует установлению чисто человеческих взаимоотношений. В этом плане фигура поэта, творчеству которого посвящена настоящая статья, необычайно значима и интересна. Это Бенедикт Лившиц — незаурядное и уникальное явление русской культуры, место которого в картине культурной жизни XX века до сих пор не определено. Поэт и переводчик, летописец футуризма, автор знаменитой книги «Полутораглазый стрелец», знаток авангардистской живописи, он в первую очередь был поэтом (чье творчество, к сожалению, до сих пор не исследовано нашей критикой и литературоведением), поэтом, более известным как литературный мэтр, что для знатоков поэзии порой не менее важно, чем чисто поэтическая слава.

Бенедикт Лившиц — поэт-энциклопедист, знаток классической и вообще древней культуры. Его стихи перенасыщены образами греческой и римской мифологии (в этом отношении он может соперничать с Брюсовым и Мандельштамом). Интерес к другим культурам характерен для Лившица вообще, однако это не самоцель. Изучая древние культуры, автор смотрит на них с точки зрения сегодняшнего дня, он, по справедливому мнению А. Урбана, «нигде в прошлом поселиться не хотел бы», т. к. «он принял «новый образ бытия», вкусил от горчайшего плода индивидуального самосознания, и иного пути уже для себя не видит»<sup>1</sup>. Именно живая основа его поэзии

---

<sup>1</sup> А. Урбан. Метафоры ожившей материк. — «Вопросы литературы», 1987, № 12, с. 124.



стала тем началом, которое привело к созданию подлинно художественных произведений. Вновь позволим себе обратиться к словам А. Урбана, имеющим непосредственное отношение к нашей теме: «Любовь к природе, любовь к искусству, любовь к слову — она будет проявляться самым неожиданным образом, в самых отвлеченных сферах, казалось бы, доступных лишь уму и воображению. Он умел любить далекое, испытывать волнение и острую заинтересованность, прикасаясь даже к мирам, ему не близким. Обладал природной пластичностью и артистизмом, позволяющим понять другого человека, иной строй чувств и образ жизни»<sup>2</sup>.

Именно эти черты в особо яркой форме проявились в цикле «Картвельские оды», посвященном Грузии и написанном после поездки в эту страну в конце 20-х — начале 30-х годов. Здесь мы опять встречаемся с феноменом, ставшим традиционным для творческого пути многих русских поэтов, — именно в книге «Картвельские оды» впервые у Б. Лившица «появились в таком густом сочетании реалии науки, современная деталь, конкретный пейзаж»<sup>3</sup>. Более того, знакомство с Грузией способствовало возрождению собственного лирического «я», обретению заново поэтического голоса и воплощению его в великолепных стихах.

Почему же именно Грузия так вдохновила Лившица вслед за Пастернаком, Мандельштамом и целой плеядой русских поэтов?

О желании познакомиться с Грузией поэт писал К. Чуковскому в июне 1929 года: «...Я еду по Грузинской дороге в Тифлис: может быть, с Казбеком у нас установятся лучшие отношения. Хочу проехать на лошадях, а не на авто, которое мчится бешеным темпом».

Безусловно, главную роль в восприятии Б. Лившицем Грузии сыграли поэты, с которыми он не просто сошелся, а стал близким и родным для них человеком. Это Тициан Табидзе, Паоло Яшвили и, конечно же, Георгий Леонидзе, написавший «Слово о друге», ставшее вступительной статьей к книге «Картвельские оды», которая вышла впервые отдельным изданием в Тбилиси в 1964 году. Говоря об истоках и причинах возникновения у Лившица интереса и любви к Грузии, Г. Леонидзе объясняет их именно стремлением внести живую

---

<sup>2</sup> Там же, с. 124.

<sup>3</sup> Там же.





струю в собственную поэзию, несколько освободиться от книжности и тяжеловесности иных своих стихов. С другой стороны, Г. Леонидзе объясняет восторг и влюбленность поэта в Грузию, в ее природу не только чисто географическим моментом, но больше — морально-психологическим, мировоззренческим, что также является одной из традиций восприятия Грузии русской литературой: «Б. Лившиц открыл для себя Грузию, сроднился с ее поэзией, был очарован ею и умилялся. Он говорил нам, что пребывание в Грузии было лучшей порой его жизни, «счастливыми днями», и очень сожалел, что «прозевал», — поздно пришел к этой любви. Грузию он называл своей «второй поэтической родиной», ибо она вдохновила его на новое творчество...

Мы интересовались стихами, написанными до приезда к нам, и потом внимательно следили, как рождался, рос и пополнялся цикл стихов о Грузии. Он сразу глубоко и непосредственно, поэтически воспринял природу Грузии... И мне понятно волнение души, тот поэтический экстаз, который охватил Б. Лившица и охватывает каждого настоящего поэта перед величественной картиной гор.

В стихотворениях Б. Лившица не просто возглас восхищения и удивления перед красотой природы, а глубокие раздумья и осмысление места природы в жизни человека»<sup>4</sup>.

Для цикла «Картвельские оды» характерно чередование античной лексики с выражениями грузинской речи, причем, по справедливому замечанию П. Нерлера, грузинские реалии появляются в тексте не в переведенном, а именно в чисто грузинском варианте — черта, характерная для русской поэзии не 20—30-х годов, а 60—70-х годов нашего века. Причем употребление грузинских наименований не затрудняет понимание смысла, а, наоборот, этот прием, по мнению Г. Гачева, «не просто краска, местный колорит: он имеет громадное мировоззренческое значение, ибо он дышит двуязычием, помещает сознание и точку наблюдения на меже языков — логик в системе мышления»<sup>5</sup>.

Стихотворение под условным названием «Хевис-кари» (в «Литературном современнике» оно было опубликовано без названия) представляет собой подобную переключку античных и

---

<sup>4</sup> Г. Леонидзе. Слово о друге. — В кн. Б. Лившиц. «Картвельские оды». Тбилиси. «Литература да хеловнэба», 1964.

<sup>5</sup> Г. Гачев. Содержательность художественных форм. Эпос, лирика, театр. М., «Просвещение», 1968, с. 76.



грузинских наименований. На наш взгляд, это проявление не только двуязычия в чисто лингвистическом и логическом понимании, это стремление воспринять новую систему образов через привычную, здесь античные наименования служат как бы ключом к восприятию и пониманию новой поэтической образности. Так, в первой же строфе стихотворения грузинская природа дается посредством метафор, связанных с античной мифологией:

Вдоль деки отвесной громады  
Циклопами укреплены  
Похожие на водопады  
Молочные струны зурны<sup>6</sup>.

Здесь мы сталкиваемся с интересной метафорикой: природа воспринимается через образы, связанные с искусством («деки отвесной громады»), а затем происходит обратная ассоциация — музыкальные инструменты сравниваются с природными явлениями («похожие на водопады молочные струны зурны»).

Когда «Картвельские оды» появились в печати, критика посчитала их сложными, непонятными, написанными в книжной и отвлеченно-созерцательной манере. Однако при внимательном рассмотрении и анализе становится очевидным, что сложные на первый взгляд эпитеты и вся система образов очень легко расшифровываются в поэтическом контексте, привлекая свежестью и неожиданностью:

Несут облака, хорохорясь,  
Толпой водоносов грозу,  
Чтоб глаз притаившихся прорезь  
Арагвой сверкала внизу.

Олицетворения, эпитеты, метафоры, приближающие природу к миру чувств человека (облака уподобляются толпе водоносов, несущих грозу, сверкающая внизу Арагви ассоциируется с прорезью притаившихся человеческих глаз), — все это придает описанию неожиданный ракурс таинственности и живости.

Это и есть та самая любовь к природе, к слову и ис-

---

<sup>6</sup> Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец. — Л., «Сов. писатель», 1989.





кусству, объединенная в самых отвлеченных сферах, о которой говорил А. Урбан в уже упоминавшейся статье, и которая помогала Лившицу понять и сделать своей иную систему чувств и образов.

В третьей строфе поэт переходит от реальных картин природы к мировоззренческим рассуждениям, возникшим под влиянием грузинской действительности:

Ущелий бегут кривотолки,  
Слюдой осыпается ложь,  
Но в каждом гранитном осколке  
Ты правдой Нагорной встаешь.

Это четверостишие чрезвычайно важно для осмысления Грузии как сущностной категории не только в творчестве Лившица, но и вообще в русской поэзии. Долгое время была распространена точка зрения, что русская поэзия в основном воспринимала внешнюю сторону грузинского пейзажа и быта, т. е. так называемую экзотику, не проникая в глубь ее явлений. Однако анализ произведений почти всех выдающихся русских поэтов XX века, обращавшихся к этой теме (Н. Тихонов, П. Антокольский, Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, Б. Лившиц и др.), позволяет не только опровергнуть это мнение, но и прийти к выводу о том, что русская поэзия в своих вершинных образцах проникала именно в мировоззренческую глубину грузинского духа, культуры и образа мышления. Именно Грузия как философская, мировоззренческая и психологическая структура была той благодатной средой, которая помогала русским поэтам постигать свои собственные мировоззренческие проблемы. Это и есть то восприятие «изнутри», о котором говорит Н. Бахтин и которое наряду с восприятием «извне» является одной из важнейших составляющих литературного опыта нации.

Возвращаясь к стихотворению Б. Лившица, необходимо отметить, что в сложном, противоречивом и неоднозначном жизненном круговороте начала 30-х годов главная истина, которую увидел поэт в Грузии, — это ее высокая нравственная основа, проступающая сквозь «кривотолки ущелий» и «осыпающуюся слюдой ложь» (как видим, прием очеловечивания природы постоянно присутствует в стихах Лившица):

Но в каждом гранитном осколке  
Ты правдой Нагорной встаешь.



В последней строфе автор поднимается уже до космических, вселенских обобщений, объединяя в грузинском ландшафте и всю глубину и бездонность «праматериковой» культуры, и «геологическую масштабность», и философское осмысление мира в его первозданности:

И судорогою порфира  
В праматериковом бреду,  
Ощерившись, музыка мира  
Застыла у всех на виду.

Поэтический язык Лившица чрезвычайно богат и разнообразен. Он вообще придавал огромное значение художественному слову, по мнению П. Нерлера, не случайно поэтический язык Хлебникова, так поразивший Лившица, сравнивается с Кавказом. Что касается самого Лившица, то его язык в «Картвельских одах» удивительно четок и художественно емко, при этом легок для восприятия.


Так, уже первое стихотворение из «Картвельских од» позволяет определить глубокий уровень восприятия Грузии поэтом как в художественном, так и в мировоззренческом плане.

Стихотворение «Гудаури» (также написано в начале 30-х годов, а опубликовано в «Литературном современнике» в 1936 году без названия) продолжает общую направленность всех «Картвельских од», но вносит в нее особые черты. В нем явно чувствуются ассоциации с лермонтовскими стихами:

Уже нельзя взбираться выше,  
Не проломив хребта у гор;  
Уже в самом зените слышен  
Их гетеански плавный спор.

Эти строки вызывают в памяти стихотворение М. Лермонтова «Спор», написанное, с одной стороны, в традиционной для русской литературы манере изображения Кавказа, а, с другой стороны, глубоко символичное и имеющее типологические связи с грузинским романтизмом, в частности, со стихотворением А. Чавчавадзе «Кавказ». Таким образом, стихотворение Лившица вбирает в себя традиционные мотивы русской поэзии, а через нее выходит на типологические связи с грузинской духовной культурой XIX века. Вторая строфа также продолжает традиционную линию первой (строки: «ужели без размера гора с горой заговорит» явно перекликаются с лермонтовским





«и звезда с звездой говорит» из стихотворения «Выхожу один  
я на дорогу»). Однако уже последние две строки второй  
строфы вносят в стихотворение дыхание XX века с его образ-  
ностью, сложной и фантазмагоричной:

Как беззаботная химера,  
Рождая сонмы химерид?

Появление слов «химера», «химерида» в данном кон-  
тексте явно не случайно и вызывает ассоциации с пастерна-  
ковскими стихами о Грузии, в частности со стихотворением  
«Вечерело. Повсюду ретиво» (1931), в котором Тбилиси ас-  
социируется с химерой.

В поэтическом восприятии Грузии Пастернаком и Ливши-  
цем можно найти нечто общее. В первую очередь, это возрож-  
дение поэтической музыки, которое произошло у обоих в Гру-  
зии (цикл «Второе рождение», по справедливому мнению ис-  
следователей, характерен в этом отношении самим своим на-  
званием). С другой стороны, именно общая любовь к Грузии  
сблизила поэтов. Об этом пишет Б. Лившиц в письме к  
Т. Табидзе от 21 декабря 1935 года: «В Москве я встретился  
с Пастернаком теплее, чем когда-либо, быть может, именно  
потому, что между нами связующей нитью протянулось наше  
общее чувство любви к Грузии».

Возвращаясь к характеристике слова «химера» в «грузин-  
ских стихах» Лившица и Пастернака, нужно отметить, что  
обоих поэтов критика упрекала в абстрактно-отвлеченном, от-  
страненном и книжном восприятии Грузии. Так, критик А. Мар-  
ченко писала относительно стихотворения Пастернака «Вече-  
рело. Повсюду ретиво», что это еще одна попытка осмыслить  
Грузию, которая поэту не удалась: «Восхождение на Мтацмин-  
ду не первое рандеву поэта с Кавказом, и все-таки открываю-  
щаяся панорама застаёт его врасплох... Тифлис ускользнул от  
всесильного глазомера: возник и казался химерой, точно град  
не от мира сего...».

На наш взгляд, точка зрения А. Марченко необоснована  
и неоправданна, т. к. при чтении стихотворения никак не соз-  
дается впечатление, что поэт застигнут врасплох и не способен  
оценить возникшую перед ним картину. Наоборот, нарисовав  
открывшийся его взору пейзаж, поэт тут же обращается к ис-  
тории, связывая настоящее этого края с драматическими собы-  
тиями прошлого. Именно с этой точки отсчета, с этой истори-  
ческой высоты, и одновременно с реальной высоты горы, на



вершине которой стоит поэт, он смотрит на Тбилиси как на сказочный, древний и загадочный город, сохранивший первозданную прелесть и чистоту, несмотря на свою многовековую трагическую судьбу.

В таком контексте становится совершенно очевидным, что Тифлис не ускользает от «всесильного глазомера», а что автор специально подчеркивает эфемерность этого города: не потому, что не в состоянии понять его, а потому, что, воспринимая его сквозь дымку столетий, подчеркивает многомерность и многозначность Тбилиси.

В этом же контексте следует понимать слово «химера» и в стихотворении Б. Лившица, только у Лившица речь идет не о Тбилиси, а о горном пейзаже. Химера здесь — нечто бездонное и непознаваемое, т. е. понятие столь емкое и глубинное, что его трудно однозначно расшифровать. Тем более, что в последующих строфах автор, раскрывая смысл стихотворения, говорит о рождении обновленного мира, которое в его сознании связано с рождением самого Слова:

Но, над сознанием возникая  
Из навзничь сброшенных высот,  
Как Одиссею Навзикая,  
Нам утро мира предстает,  
Когда за диким перевалом,  
Не понимая ничего,  
Мы видим в блеске небывалом  
Рожденье Слова самого.

Слово для Лившица — самое высокое понятие, в данном случае оно символизирует сотворение мира.

Б. Лившиц полюбил Грузию не только пассивно-созерцательно, он старался изучить ее историю, культуру, нравы, мифологию и, конечно, язык. Он начал изучать грузинский, чтобы переводить грузинскую поэзию с оригинала. Об этом говорил Н. Тихонов на творческом вечере Т. Табидзе в Ленинграде в 1937 году. Б. Лившиц перевел из грузинской поэзии Н. Бараташвили, В. Пшавела, Г. Табидзе, Т. Табидзе, П. Яшвили, Г. Леонидзе, Карло Каладзе.

Грузинская речь привлекала поэта, он посвятил ей отдельное стихотворение цикла — «Картвельская речь». Излишне повторять, насколько важно восприятие поэтической культуры через язык нации. Не случайно многие русские поэты, не зная грузинского языка, но желая вслушаться в мелодику и





музыку стиха, требовали, чтобы им читали стихи на грузинском языке. Этому есть свидетельства А. Белого, О. Мандельштама. У Лившица в стихотворении «Картвельская речь» нет прямых вкраплений грузинской лексики, метрика и ритмика русского стиха сохраняются, однако с помощью аллитерации и образов-символов поэт создает ощущение грузинской поэтической образности. По справедливому наблюдению П. Нерлера, «ручейки античной и грузинской лексики почти не пересекаются, но всегда перекликаются в стихотворениях «Картвельских од», при встрече же перекличка приобретает не только смысловой, но и звуковой оттенок»<sup>7</sup>. В стихотворении «Картвельская речь» вся система метрических и поэтических приемов служит созданию грузинской стилистики и ритмической структуры:

В гортанных гнездах горной речи  
 Не клетот спорящих орлят,  
 Не рокот отдаленной сечи  
 В сплошной ложится звукоряд.

Нет, в них, как в доломитных гнездах,  
 Еще и в наши дни живет  
 Не голос — может быть, лишь воздух  
 Грозой насыщенных высот.

Как видим, система образов ставит в один «звукоряд» и «клетот спорящих орлят», и «гортанные гнезда» горной речи, «воздух грозой насыщенных высот». Прием олицетворения тот же, только теперь наряду с явлениями природы очеловечивается и сам процесс речи, которая становится как бы самостоятельной категорией.

В третьей строфе Б. Лившиц опять прибегает к приему сочетания античных и грузинских наименований.

Где вечером, в своей берлоге,  
 Овечий подсчитав удой,  
 Циклоп встречает на пороге  
 Не месяц, к старости безрогий,  
 А Эльбрус вечно молодой.

<sup>7</sup> П. Нерлер. «Соп атоге!» (Памяти Б. Лившица). — «Лит. Грузия», 1985, № 11, с. 153.



Образцами художественного совершенства, гармонического единства формы и содержания являются, на наш взгляд, два стихотворения Б. Лившица о Тбилиси, в которых в полной мере воплотилось его поэтическое понимание города. Это как бы две вариации на одну и ту же тему, созданные в разных стилях и дополняющие друг друга. Первое стихотворение называется «Тебилиси». Оно пронизано ощущением трепетности и нежной влюбленности. Об этом писала жена Б. Лившица в одном из писем: «Это был неистовый и безоглядно увлекающийся человек. Он и в Грузию без памяти влюбился, как в женщину, и посвящал ей любовные стихи». В первой строфе поэт прямо называет свое чувство влюбленностью, когда объект любви существует как бы отдельно от возлюбленного, и называть его имя возможно только находясь вдали от него:

Я еще не хочу приближаться к тебе, Тебилиси,  
Только имя твое я хочу повторять вдалеке,  
Как влюбленный чудака, рукоплещущий бурно актрисе,  
Избегает кулис и храбрится лишь в темном райке.

Стихотворение классически просто, в нем нет сложных эпитетов, метафор и ассоциаций. Однако именно эта строгость и внешняя простота создают прекрасную основу для гармонического единства глубины содержания и емкости, и высокой художественности формы. Сравнение лирического героя с «влюбленным чудаком», издаലെка поклоняющимся своему кумиру — актрисе, как бы отделяет автора от героя стихотворения, и он остраненно смотрит на город, одно упоминание о котором приводит его в трепетное волнение:

Пахнут пылью овечьей твои вековые румяна,  
Под сурью ресниц угасает ленивый задор,  
И в оливковой мгле на подземном наречье духана  
Разрешают судьбу равнодушно толпящихся гор.

Сравнение с театром продолжается: город и окружающая его природа подаются через театральные аксессуары («вековые румяна», «сурьма ресниц»); лишь постепенно, минуя наносное и преходящее, можно приблизиться к постижению какой-то одной ипостаси этого города, ибо познать его целиком невозможно, настолько он многогранен и ускользаем (не случайно и у Пастернака, и у Лившица присутствует этот мотив непознаваемости, таинственности и вечной неожиданности).







Во второй строфе вновь появляется мотив нереальности этого города, воспринимаемого сквозь призму подсознательных сонных видений, «через тайнопись» чредою промчавшихся миров, — и, наконец, в третьей строфе автор обращается к реальному городу, явившемуся живым воплощением души Грузии, ее древней и в то же время юной красоты. Описание современного Тбилиси многокрасочно, ярко и сочно, оно полно жизни — по контрасту с патетическим и торжественным ритмом первой строфы:

Летят в абрикосовый город  
Дорожные автомобили,  
Молчит абрикосовый город,  
Бледнея под слоем румян,  
А Нико Пиросманишвили,  
Возникнув из облака пыли,  
Клеенчатым манит бессмертьем  
И прячет бессмертье в духан.

Стих приобретает легкость, прозрачность, осязаемость. Не случаен здесь образ Нико Пиросманишвили, как неотъемлемая часть удивительного города:

И я сквозь дремучее слово  
Вхожу в подведенные очи,  
В твои ненаглядные очи,  
Где мне не указ тамада.

Завершает стихотворение строфа, в которой вновь возникают исторические и мифологические образы. Последнее четверостишие перекликается с началом первого стихотворения диптиха, где автор, как мы уже говорили, не мог приблизиться к этому городу, только имя его повторял вдалеке. В конце второго стихотворения автор говорит о Тбилиси как о городе запретной страсти, ставшем ему близким и дорогим:

И кровосмесительства слаще  
Мне имя твое, Тбилиси,  
Как память предсуществованья  
В объятьях забытой сестры.

Восприятие Б. Лившицем Грузии и Тбилиси в таком многоплановом аспекте характерно вообще для русского литера-



турного процесса 20-х годов в целом. Мы уже говорили о том, что экзотика в чистом виде редко встречается в стихах русских поэтов, т. е. грузинский быт, реалии, нравы и обычаи достаточно широко представлены в русской поэзии 20-х годов, но чаще всего это не самоцель и, во всяком случае, не единственная цель. За внешним пластом, как правило, имеется другой, глубинный, мировоззренческий. Иногда он может сосуществовать с первым, как это мы увидели при анализе стихов Б. Лившица о Тбилиси, или подразумеваться, уходя в подтекст, но Грузия в русской поэзии всегда — глубоко философская, психологическая и мировоззренческая категория, позволяющая автору открыть для себя нечто новое, неизведанное.

Еще одним подтверждением является стихотворение «Кавказ», не входившее в первоначальную редакцию «Картвельских од» и подытоживающее восприятие Б. Лившицем Грузии начала 30-х годов.

Стихотворение, как это обычно бывает у Лившица, насыщено образами греческой мифологии, Кавказ и Грузия воспринимаются в нем как неотъемлемая часть глубокой древности, когда земля меняла свой облик, возникали «новорожденные материки», всплывая «с ложа первозданных океанов». Кавказ предстает в стихотворении как двуединый символ, т. е., с одной стороны, здесь имеется в виду пограничное его положение между Европой и Азией, с другой же — религиозное сосуществование в нем христианского и мусульманского миров.

Расщепленный на две сердцевины,  
Перешеек или пересказ  
Евразийской правды, двуединый  
В этом ли клянется мне Кавказ?  
Для того ль преображало эхо  
Голоса разноплеменных гор,  
Чтоб вошел в бычачий щит месеха  
Бактрии чудовищный узор?

Несмотря на внешнюю усложненность текста, ясно, что Лившиц говорит о том же, о чем говорил Мандельштам, — о сохранении Грузией своей самобытности и неповторимости. «Месехи» (правильно месхи) — обитатели Месхети, исторической провинции в Южной Грузии, после завоевания Месхети Турцией частично были обращены в мусульманство.

Поэт прямо выражает свое опасение по поводу того, что Грузия с ее исконными традициями может подпасть под влия-



нке «чудовищного узора Бактрии», т. е. принять мусульманскую ориентацию. Возможно, тревоги Лившица не имели под собой реальной почвы, однако для нас важно, что русский поэт восхищается именно глубокой древностью и самобытностью этой страны, которая представляет для него источник вдохновения, осознания себя как частицы вечности и в то же время как маленькой струйки в той человеческой реке, которая называется жизнью:

Нет возврата к ночи довременной,  
Мы живем с тобою первый раз, —  
Почему же я гляжу бессменно  
В пламя неисповедимых глаз,  
Словно в них, освободив прапамять,  
Времени расплавилась броня,  
И они, того не зная сами,  
Зарево подводного огня?

Анализ некоторых стихов из цикла Б. Лившица «Картвельские оды» позволяет сделать вывод, что Грузия действительно стала для него «второй родиной». Постигание этой страны, связанное как с традициями русской поэзии, так и — в большей степени — благодаря непосредственному проникновению в культуру, психологию, мировоззренческие основы жизни нации, изучение ее языка, позволили Б. Лившицу в своей собственной поэзии освободиться от некоторой книжности и манерности, внести в нее аромат и свежесть реальной действительности. Наряду с С. Есениным, В. Маяковским, Б. Пастернаком, О. Мандельштамом, Н. Тихоновым, П. Антокольским, Н. Заболоцким и другими русскими поэтами Б. Лившиц создал в стихах свой образ Грузии, уникальный и неповторимый, а его переводческая деятельность, а также изучение обычаев, мифологии, культуры грузинского народа останетса во взаимосвязи двух культур примером самоотверженного служения искусству в его высшем проявлении — поэзии.



## И все же нас не сломили

**В**торая мировая война давно уже стала достоянием истории, но мы помним о неисчислимых потерях, о страшных жертвах фашизма — и о слезах радости, когда долгожданная Победа пришла в каждый дом.

Можно по-разному трактовать все перипетии войны, но одно несомненно — она принесла неисчислимые страдания человечеству. Победа далась очень дорогой ценой всем народам бывшего Советского Союза, в том числе и грузинскому народу, который внес достойную лепту в разгром фашизма.

Автор предлагаемых воспоминаний — бывший узник концлагеря Дахау, а ныне доцент кафедры статистики Тбилисского университета имени И. Джавахишвили, ветеран войны и труда, кавалер орденов Отечественной войны I и II степеней, семи боевых и юбилейных медалей **Варлам Амбакович ОМИАДЗЕ**. Записал воспоминания заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Тбилисского университета, профессор **Григорий ПАЧКОРИА**.

**В** июне 1942 года советские войска вели тяжелые оборонительные бои на Харьковском направлении. Особенно угрожающая ситуация сложилась в районах Старобельска, Евсюга, Беловодска, Черткова, где врагу удалось прорвать оборону, и наши части оказались в окружении под Миллеровым.

По приказу командира 73-го минометного полка майора Власенко мы уничтожили всю материальную часть и решили двигаться в сторону фронта, чтобы прорваться к своим. Передвигались ночью, а днем скрывались в кукурузе и подсолнухах.

В конце августа 1942 года при попытке выйти из окружения мы были схвачены у Дона украинскими националистами, которые сразу же передали нас немцам. Меня приняли за комиссара и безжалостно избили. На следующий день нас перевели в лагерь для военнопленных, расположенный в деревне Кружилино. Там нас построили, вызвали некоего Бекоева, оказавшегося уроженцем города Орджоникидзе<sup>1</sup>, и приказали

<sup>1</sup> Ныне Владикавказ.



ему указать на комиссаров и евреев. Он назвал человек десять, в том числе молодого лейтенанта Иванова из Ленинграда и политработника Заболоцкого, еврея по национальности. Их заставили вырыть себе могилы, а вечером перед строем раздели догола, избили и только потом расстреляли. Наутро остальных отправили в лагерь для военнопленных под открытым небом в Боково. Там были нечеловеческие условия содержания, отсутствовала самая элементарная медицинская помощь, люди гибли от голода и эпидемий.

Вскоре нас переправили в Харьков и поместили в тюрьму на «Холодной горе», откуда через несколько дней этапом отправили в лагерь во Владимире-Волынском, где я пробыл до октября 1942 года. Почти ежедневно немцы расстреливали военнопленных за саботаж и попытки побега, много людей гибло от голода, тифа и дизентерии.

Оставшихся в живых в конце октября вывезли в Польшу, в лагерь под Ченстоховым. Здесь активно действовали вербовщики из армии генерала Власова, склоняя военнопленных перейти на их сторону или же в формировавшиеся в то время национальные дивизии. Мы агитировали колеблющихся не поддаваться на посулы предателей.

Весной 1943 года часть пленных отправили на каторжные работы в Германию. 15 мая мы прибыли в Людвигсбург (около г. Штутгарта). Здесь формировались рабочие команды, и нас, человек сорок, отправили на работы в местечко Некасульме. Когда мы прибыли на место, нам приказали разгрузить вагон с военным снаряжением, но мы отказались, за что были жестоко наказаны.

В Некасульме я установил связь с антифашистами. Ночью, после отбоя, мы обсуждали план побега.

В нашу группу входили Галактион Челидзе, Шио Бургуладзе, Михаил Микелашвили, Тариэл Цитлидзе, Владимир Бабунашвили, Васо Гудадзе, Аркадий Сидоров, Евгений Орлов, Мириан Вачейшвили и кадровые офицеры Советской Армии — Варден Чиквания и Самсон Лобжанидзе. Мы подготовились к побегу, запаслись едой, компасом, гражданской одеждой. Побег был назначен на утро 3 сентября. Решено было бежать в сторону Швейцарии или Италии (в Италии уже свергли Муссолини, там шли ожесточенные бои между немецкими войсками и союзниками). Но 2 сентября ночью нас, 13 человек, неожиданно арестовало гестапо, Однако двое наших



товарищей — Орлов и Вачейшвили — через три месяца все же бежали.

Нас заключили в Штутгартскую тюрьму и в течение месяца систематически допрашивали, нещадно избивая. Неожиданно ночью 20 октября 1943 года нас привезли на железнодорожную станцию и загнали в вагоны, обнесенные колючей проволокой. Вечером того же дня мы были в концентрационном лагере Дахау. В Дахау на нас надели полосатую одежду с красным кружочком с буквой R (Русский) в центре, пришили лагерный номер (мой № 56831 в настоящее время хранится в Государственном историческом музее Грузии) и загнали в карантин — блок № 15.

Через несколько дней немцы организовали рабочую команду, т. н. «кибелькомандо». В числе других в нее попали и мы, шестеро грузин. Командой руководил патриот, замечательной души человек Николай Деревянко (Матрос).

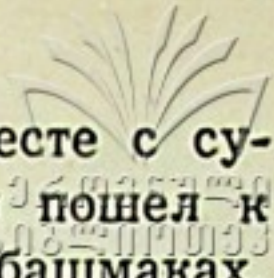
В Дахау я общался со многими политзаключенными — коммунистами и социалистами Германии, Франции, Польши, Испании, Чехословакии, Югославии, Италии. Особенно сдружился с бойцами-интернационалистами, воевавшими в Испании на стороне республиканцев и попавших в лагерь после капитуляции Франции.

Но ближе всех я сошелся с русскими военнопленными — генералами Я. И. Тонконоговым, С. В. Вишневым, Н. Ф. Михайловым, полковниками И. А. Пановым, А. С. Ковалевым, И. Г. Петровым, летчиками Г. Сидоренковым, Е. В. Захаровым, А. И. Аксеновым и другими. Особенно близкие отношения у меня сложились с Сашей Крапивиним и Никифором Ивановичем Молоковым. Они связали меня с антифашистским подпольем, которое возглавлял, как стало известно позднее, И. А. Панов.

Саша Крапивин систематически информировал меня о положении на фронтах, давал очередные задания, т. к. я вел работу среди политзаключенных других национальностей — немцев, чехов, поляков и югославов.

Наша «кибелькомандо» оказывала всевозможную помощь советским офицерам и политзаключенным. Мне особенно запомнился один эпизод. В начале 1944 года стало известно, что в Дахау привезли трех советских генералов — Тонконогова, Вишневого и Михайлова. Руководитель нашей команды Николай Деревянко (Матрос) подошел ко мне и тихо сказал: «В 16 блоке содержатся советские генералы. Они очень истощены и обессилены. Мы должны оказать им помощь. Со-





бери с каждого полпайка хлеба с маргарином и вместе с супом отнеси им». Мы сразу собрали продукты, и я пошел с ним в блок. В полосатой одежде и в деревянных башмаках, они молча сидели на нарах. Я поздоровался с ними и передал им пищу от имени нашей бригады. Они были тронуты нашим вниманием. Узнав, что я грузин и из Тбилиси, генерал Тонконогов сказал мне, что вместе с ним в Шлиссельбургской крепости сидел грузин — генерал Павел Абрамидзе, прекрасный человек. Я был знаком с генералом Абрамидзе. Он был первым грузинским генералом, командовавшим дивизией. Мы познакомились в лагере военнопленных во Владимире-Волынском.

В Дахау я встретился со многими грузинами. Первым грузином, попавшим в Дахау, был Г. К. Цинцадзе из Кутаиси. В плен он попал еще в 1941 году. Цинцадзе совершил побег из лагеря для военнопленных, был пойман и заключен в тюрьму, затем этапирован в концлагерь Дахау. Он был очень красивым и жизнерадостным человеком. Немцы его сразу приметили, проводили над ним медицинские эксперименты. Посредством каких-то комаров его заразили тропической малярией. С температурой до 42 градусов несколько дней он лежал без сознания, но все же выжил и потом работал с нами в «кибелькомандо».

В нашей бригаде работал также Галактион Челидзе из Амбролаурского района. В звании младшего лейтенанта артиллерии он воевал на Воронежском фронте. Его часть оказалась в окружении, и в июле 1942 он попал в плен. До прибытия в Дахау он сменил несколько лагерей на территории стран, оккупированных немцами: в Ровно и Владимире-Волынском, в Людвигсбурге и Некасульме, сидел в штутгартской тюрьме. В лагере он выполнял конспиративные задания. Вечерами, возвращаясь с работы, он проносил в лагерь письма, газеты. Однажды его обыскали и обнаружили книги. За это он был жестоко избит и брошен в бункер на 72 часа. Выйдя из бункера, он десять дней пролежал на нарах в бараке, не в состоянии пошевелить даже пальцами. В наказание его перевели работать на каменоломню. Оттуда, как правило, никто живым не возвращался, но с помощью чешского антифашиста Ольджиха ему удалось спастись.

В лагере я общался и с другими военнопленными-грузинами — Тариэлом Цитлидзе, Владимиром Бабунашвили, Александром Жвания, Григорием Пхакадзе, майором Варденом Чиквания, капитаном Самсоном Лобжанидзе, Михаилом Ми-



Филимоном Харшиладзе, врачами Валико Сиганава и Серго Апишлага, замечательными людьми, выстоявшими в тяжелейших условиях фашистского концлагеря.

Летом 1944 года в лагерь прибыла большая группа пленных, среди которых оказался еще один мой соотечественник, тбилисец Шалва Сараули. Со школьных лет он увлекался авиацией, поступил в Тбилисский аэроклуб, после окончания аэроклуба его вместе с товарищем, Давидом Джабидзе (впоследствии Героем Советского Союза) направили в Сталинградскую авиационную школу. После окончания школы лейтенанта Сараули зачислили в бомбардировочную авиацию. Он сражался под Москвой, на Воронежском фронте и под Ленинградом. Был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

В конце марта 1942 года самолет, которым управлял Шалва Сараули, был сбит на территории, оккупированной немцами, и летчик оказался в плену. Его заключили в тюрьму, затем перевели в концлагерь Перлах. Вскоре в лагере возникла подпольная организация под названием «Братское содружество военнопленных» («БСВ»), в создании которой активное участие принимали летчик Сараули и его земляк, бывший командир дивизиона Тбилисского артиллерийского училища полковник Тарасов.

Организация «БСВ» готовила в лагерях зоны Мюнхена восстание советских и иностранных пленных. Подготовка велась в продолжение всего лета и осенью 1943 года. Заранее было приготовлено оружие и медикаменты. Руководителем восстания был назначен майор Карл Озолин. По плану предполагалось совершить нападение на охрану лагеря и ее разоружение, захват находящихся поблизости зенитных батарей и освобождение военнопленных соседних лагерей. Руководители организации предполагали, что англичане и американцы воспользуются разгромом отборных немецких дивизий в Сталинграде и под Курском и немедленно начнут вторжение в Европу, а приближение войск союзников помогло бы успешно завершить восстание. Однако затем стало известно, что командование англо-американских войск не спешило с открытием Второго фронта в Европе. Поэтому члены БСВ решили не выступать и до вторжения советских войск в Германию продолжать подпольную борьбу.

В мае 1943 года в концлагере Перлах немцы развернули широкую работу по вербовке бойцов для так называемой



«Освободительной армии» предателя Родины генерала Вла-  
сова. «БСВ» сорвало эти мероприятия.

В дело вмешалось гестапо, в котором был создан спе-  
циальный отдел по борьбе с «БСВ». Немцы засылали в ра-  
бочие команды зоны Мюнхена агентов и провокаторов. Пер-  
вые аресты были произведены 18 мая 1943 года. Одной из  
первых жертв гестапо стал Иван Бугорчиков. Однако немцы  
ничего не смогли узнать. Никто не выдал подпольную орга-  
низацию. И только спустя шесть месяцев гестапо удалось на-  
пасть на след организации. Были арестованы несколько десят-  
ков человек, и среди них Шалва Сараули и Михаил Тарасов  
(он сражался на Крымском фронте, был командиром артил-  
лерийского дивизиона).

С Тарасовым я познакомился в Дахау в 1944 году, ког-  
да его привезли в наш лагерь из Мозбурга. После карантина  
его перевели в наш блок. Однажды мы разговорились. Он по-  
интересовался, откуда я родом, и, узнав, что из Тбилиси, очень  
обрадовался, так как до войны жил и работал в Тбилиси.

Тарасова часто забирали на допросы, оттуда его приводи-  
ли вечером избитого, всего в синяках, однако он все мужест-  
венно вынес. Потом его перевели в 27-й блок.

Последнее время я работал в команде «Беклайдунг ла-  
гер Драй». В этой команде в основном были немцы, аресто-  
ванные после прихода к власти Гитлера, и сражавшиеся в Ис-  
пании антифашисты из интернациональных бригад. Были так-  
же французы, итальянцы (в Дахау их пригнали после свер-  
жения Муссолини), поляки, чехи. Советских было всего двое:  
Николай Фабриков и я.

Однажды во время перерыва ко мне подошел немецкий  
антифашист, коммунист, боец интернациональной бригады  
Вилли Прайс. Он немного знал русский язык (его научили  
русские, воевавшие вместе с ним в Испании) и грустно ска-  
зал, что из Берлина пришел приказ о расстреле русских офи-  
церов, находившихся в четвертом штубе 27-го блока. В шта-  
бе лагеря работал его товарищ, который лично прочитал при-  
каз. «Приходи сегодня вечером после проверки, — сказал он,  
— хочу кое-что дать тебе для передачи русским товарищам»  
(немцы, находившиеся в заключении, получали посылки). В  
тот же день после вечерней проверки все мы, т. е. Галактион  
Челидзе, Гриша Цинцадзе, Тариэл Цитлидзе, Володя Бабуна-  
швили и я пошли к блоку, где находились политзаключен-  
ные. Я зашел в штубе к Прайсу. Он мне дал буханку домаш-  
него пшеничного хлеба, колбасу, сыр, табак для передачи об-





реченным. Скрывая продукты под одеждой, мы прошли в 25-й блок. Через окно туалета вызвали штубундинста 27-го блока (который находился рядом) и просили найти Шалву Сараули. Скоро он подошел к окну. Мы рассказали ему о положении на Восточном и Западном фронтах, о капитуляции Финляндии. Говорили мы довольно долго, после чего передали им продукты и попрощались, как оказалось, навсегда. Мы все еще не верили, что фашисты под конец войны их расстреляют.

На второй день, т. е. 4 сентября, вернувшись в лагерь, я узнал о расстреле 92-х офицеров Красной Армии. Об этом преступлении подробно рассказал мне работавший в команде, перевозившей мертвых из лагерного ревира в крематорий, мой близкий друг, казах Саша Искалиев. Перед тем как сожгли в крематории тело Шалвы Сараули, эсэсовец при помощи специальных приспособлений вырвал у него золотые зубы.

26 апреля 1945 года к 12 часам ночи под видом эвакуации лагеря в направлении Тирольских гор были выведены под усиленной охраной самые опасные для гитлеровцев советские и немецкие политические заключенные. Организация знала, что нас выводят на расстрел. Мы готовились к побегу. И хотя он нам удался, мы понесли большие потери. 30 апреля мы еще прятались в лощинах Тирольских гор у города Купштайна. Вечером того же дня тронулись в путь и подошли к реке. По команде «бей!» прорвали вражеское кольцо и устремились на запад, где была слышна канонада американской артиллерии.

---

## ХРОНИКА

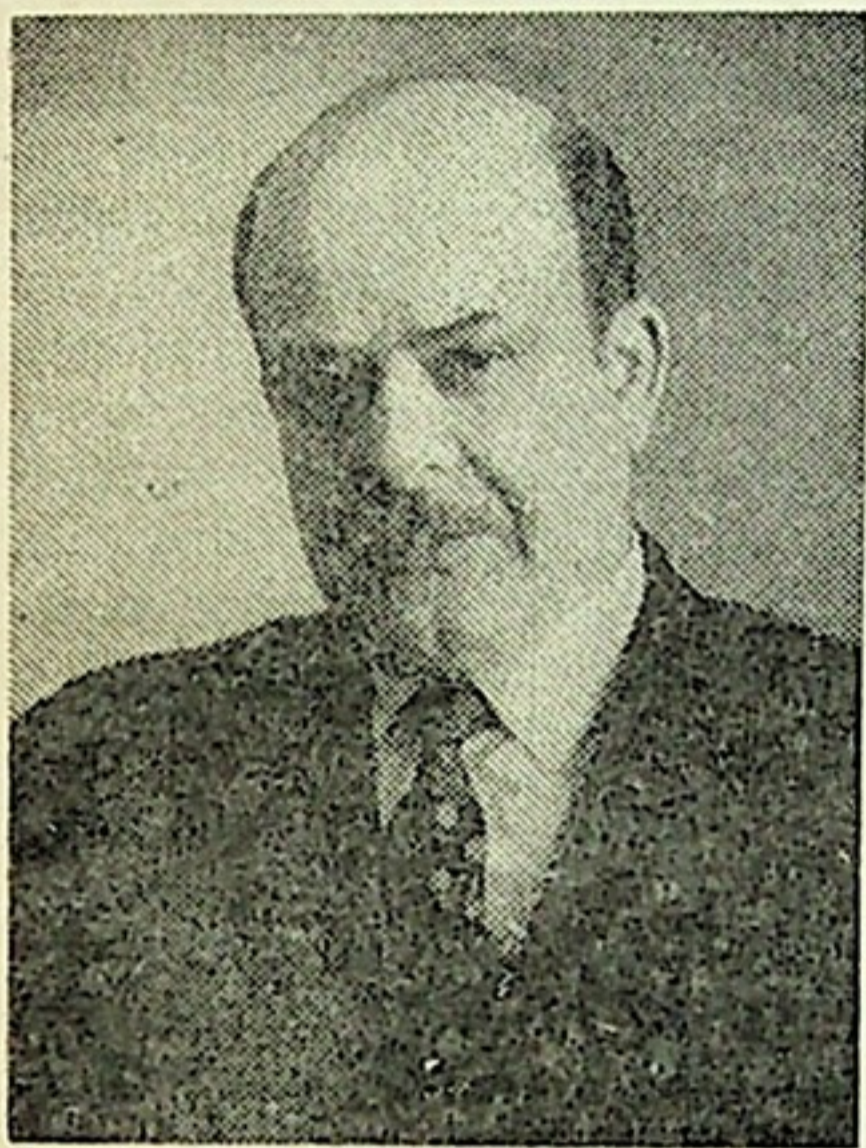
---

В консультативной встрече участвовали с грузинской стороны — Александр Кавсадзе, заместитель Председателя Совета Министров Абхазии Р. Сичинава, заместитель руководителя аппарата Главы Грузинского государства И. Мачавариани, первый заместитель Председателя Совета Министров Абхазии Л. Маршания, член Парламента Грузии Б. Какубаза, посланник Посольства Грузии в России О. Черкезия; с абхазской стороны — А. Акба, И. Анчабадзе, А. Джергения — личный представитель В. Ардзинба; с российской стороны — заместитель министра иностранных дел — Б. Пастухов, послы И. Федосов, А. Шмокевский, Ф. Ковалев.

**(продолжение на стр. 224).**



## УЧЕНЫЙ, ПИСАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ



Когда началась вторая мировая война, Георгий Цицишвили, двадцатилетнего студента, призвали в армию. Окончив Бакинское военное артиллерийское училище, он принял участие сперва в обороне Москвы, затем в обороне Ленинграда и прорыве блокады, в напряженнейших боях на Волховском, Карельском и 3-м Белорусском фронтах. Георгий Цицишвили прошел путь от лейтенанта до полковника: был командиром огневого взвода, командиром батареи, заместителем командира бронепоезда, коман-

диром артиллерийской части танкового соединения, начальником штаба артиллерийского полка, затем командиром отдельного артиллерийского дивизиона при штабе главнокомандующего.

В первые годы после войны он работал офицером штаба фронта, затем штаба военного округа и Генерального штаба Вооруженных Сил бывшего СССР. Военные заслуги Георгия Цицишвили отмечены пятью орденами и более чем двадцатью боевыми медалями, в том числе наградами других стран.

В 1948 году он демобилизовался и продолжил учебу в Грузинском политехническом институте и Тбилисском государственном университете. После окончания университета, в 1950 году он поступил в аспирантуру Академии наук Грузии. В



1953 году защитил кандидатскую диссертацию, а по окончании докторантуры Академии наук СССР — докторскую диссертацию, после чего ему было присвоено звание профессора.

С 1953 года Георгий Цицишвили работает в Институте грузинской литературы им. Шота Руставели сперва научным сотрудником института, затем ученым секретарем, заведующим отделом, заместителем директора и, наконец, директором. В 1979 году его избирают членом-корреспондентом Академии наук Грузии. В 1988 году он становится академиком и академиком-секретарем отделения языка и литературы Академии. Ему присуждается почетное звание заслуженного деятеля науки Грузии.

Георгий Цицишвили — разносторонний научный исследователь. Он автор 26 книг, 120 научных работ и около 100 литературно-критических и публицистических статей. Его книги, монографии, отдельные труды посвящены проблемам теории литературы, основным вопросам нового и новейшего периода грузинской литературы, вопросам жанровой специфики, анализу литературного процесса, актуальной проблематике литературной критики, теории и истории литературных взаимосвязей, вопросам культурологии, теоретическим вопросам театра и театроведения, истории национально-театрального искусства. Его сочинения переведены на многие языки мира.

В 1958 году по инициативе и под руководством Георгия Цицишвили в Институте грузинской литературы было создано отделение литературных взаимосвязей. Это было первое и единственное в то время отделение такого направления. Его проблематикой и работой заинтересовались во Всесоюзной Академии, и вскоре подобные отделения были открыты в Институте мировой литературы АН СССР, а затем во всех бывших союзных и автономных республиках. Благодаря этому исследование литературных взаимосвязей приобрело планомерный характер, стало объектом систематического изучения и признано частью государственной программы исследований. В становлении и формировании этого нового направления в литературоведении весьма почетная роль принадлежит отделению литературных взаимосвязей Института грузинской литературы. Хотя исследование литературных взаимосвязей происходило и до этого, оно являлось большей частью результатом личной заинтересованности и инициативы отдельных лиц, вследствие же постепенного, организованного планирования работы и формирования соответствующих структур, изучение процесса



литературных взаимосвязей стало одним из приоритетных направлений литературоведения, и большая заслуга в этом принадлежит Георгию Цицишвили. Он пользуется высоким авторитетом как признанный в этом направлении исследователь. Его работы — о характере, формах и видах литературных взаимосвязей, о механизме процесса литературно-культурного взаимовлияния и взаимообогащения, о других актуальных аспектах теории взаимосвязей — пользуются широкой популярностью.

В результате планомерных исследований Институт грузинской литературы стал ведущим научным учреждением в этой новой области. Специальным постановлением бывшей Аттестационной комиссии СССР специалисты Северного Кавказа, Закавказья и Дагестана получили право защищать диссертации (по этой специальности) не только в Москве, но и в Тбилиси. Таким образом Грузия оказала народам Кавказа большую помощь в деле воспитания литературоведческих кадров и повышения их квалификации.

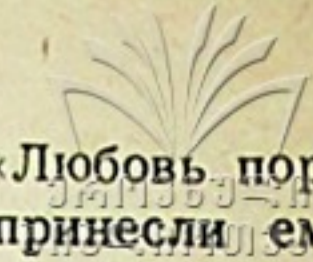
Весьма примечательны работы Георгия Цицишвили в области теории литературы, а именно исследования, посвященные специфике жанровых форм, новому осмыслению взаимоотношений формы и содержания, творческим методам и проблемам художественности, особенностям литературных родов и видов, внутреннему механизму художественности. Он является также одним из авторов учебника по теории литературы.

Литературно-критические статьи Георгий Цицишвили начал публиковать в конце 50-х годов и посвятил множество статей, исследований, монографий грузинским писателям, особенно писателям двадцатого века. Его литературоведческие работы выделяются широким кругозором, убедительностью суждений, высокой эрудицией, глубиной содержания, утонченным стилем.

В 1954 году Георгий Цицишвили вступает в члены Союза писателей Грузии. С 1968 года — параллельно с работой в институте — он руководит ежемесячным литературно-художественным и общественно-политическим журналом «Литературная Грузия» и избирается членом правления Союза писателей. Будучи главным редактором журнала, он направляет всю свою энергию на еще большую популяризацию грузинской литературы, способствует ее выходу к широкой читательской общественности.

Весьма значительна творческая деятельность Георгия Ци-





цишвили как писателя, беллетриста. Его книги «Любовь поры кровавых дождей» и «Одолей алчность свою» принесли ему заслуженное признание и известность. Обе книги издавались неоднократно как на грузинском, так и на других языках, тираж же русского издания превысил полмиллиона экземпляров. Критика не осталась равнодушной к ним — было множество положительных рецензий в стране и за рубежом. Особенно отмечались художественность и колоритность образов, умение раскрыть грузинский национальный характер, многообразие типажей и пр.

Два десятка лет посвятил Георгий Цицишвили педагогической деятельности. Под его руководством защищено 26 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Он читал спецкурс по грузинской литературе в университетах США, Германии, Франции, Японии, Румынии, Болгарии. Выступал с докладами на зарубежных конгрессах и конференциях, руководил делегациями Союза писателей на международных форумах как секретарь правления Союза писателей.

С 1977 года в течение девяти лет он — секретарь правления Союза писателей Грузии, а в 1986 году его избирают председателем Союза; с 1988 года он академик Академии наук Грузии, академик-секретарь отделения литературы и языка, член президиума Академии.

Личность Георгия Цицишвили невозможно представить себе без его неустанной общественной деятельности. На протяжении ряда лет он являлся членом научного совета Института грузинской литературы и совета, присваивающего степени при Тбилисском государственном университете; членом редколлегии целого ряда журналов и газет; редактором органа Академии наук Грузии «Мацнэ»...

По инициативе Георгия Цицишвили в 80-е годы были установлены связи с университетами ряда зарубежных стран (Германии, Румынии, Франции, Японии). К примеру, в библиотеке университета Тенри в Японии был создан фонд грузинской культуры, для студентов и аспирантов основан спецсеминар по грузинской литературе и культуре и открыт центр грузинской культуры. Профессор этого же университета Отани перевел «Витязя в тигровой шкуре».

Всю научную, писательскую и общественную деятельность Георгия Цицишвили отличает редкая любовь к своему делу, большая ответственность, настоящий профессионализм,



высокие личные качества и четко выраженный национальный дух.

Не так давно ветераны войны оказали бывшему фронтовику Георгию Цицишвили большое доверие — избрали его председателем Грузинской организации ветеранов войны.

Свое семидесятилетие Георгий Цицишвили встречает полный сил и энергии, он увлеченно работает над пятитомником своих литературоведческих работ и сборником художественных произведений.

Пожелаем же ему долгих лет жизни и успехов в его благородной и патриотической деятельности.

**Александр БАРАМИДЗЕ, академик**  
**Григол АБАШИДЗЕ, академик**  
**Шота ДЗИДЗИГУРИ, академик**  
**Гурам БАРНОВ, доктор филологических наук, директор Института грузинской литературы АН Грузии.**

---

Сотрудники «Литературной Грузии», главным редактором которой Георгий Шалвович был почти целое десятилетие, сердечно поздравляют его со столь знаменательной датой и желают крепкого и долгого здоровья и творческих успехов.



**Обращение**

Генеральному секретарю ООН  
господину Бутросу Гали

Президенту России господину Борису Ельцину  
Верховному Совету Российской Федерации

**П**арламент Грузии обращается к вам по поводу того, что абхазской стороной вот уже в который раз нарушено соглашение о прекращении огня. В последние дни такие факты отмечались неоднократно, а 24 июня Сухуми подвергся варварской бомбардировке. Есть жертвы, причинен большой материальный ущерб. Согласно российско-грузинской договоренности от 14 мая текущего года (как и от 3 сентября 1992 года), российская сторона несет ответственность за выполнение зафиксированных в этих документах обязательств.

Грузинская сторона делает все для соблюдения каждого пункта договоренностей от 14 мая как военного, так и политического урегулирования проблемы. Но несмотря на это, последовательные усилия грузинской стороны урегулировать конфликт мирными средствами не раз были сорваны по вине абхазских сепаратистов.

В соответствии с вышеупомянутыми документами российская сторона обязана соответствующим образом отреагировать на создавшуюся ситуацию, неуклонно выполняя обязательства и не допуская возможного катастрофического развития событий. Вместе с тем на фоне создавшейся обстановки вызывают сильную тревогу безответственные заявления некоторых реакционеров — должностных лиц России. Их попытки беспрецедентного вмешательства в дело внутреннего административного устройства Грузии, другие аналогичные действия, направленные на стимулирование сепаратистов и срыв российско-грузинских переговоров.

Парламент Грузии обращается к вам с требованием в кратчайшие сроки осуществить все необходимые мероприятия по выполнению взятых Россией на себя международных правовых обязательств, соблюдению общепринятых принципов незыблемости территориальной целостности Грузии как суверенного государства и невмешательства в ее внутренние дела.

**ПАРЛАМЕНТ ГРУЗИИ**

Тбилиси

24 июня 1993 года





Главный редактор **Роман МИМИНОШВИЛИ**

**Редакционная коллегия:**

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз  
БУАЧИДЗЕ, Нана КАНДЕЛАКИ, Камилла КОРИНТЭЛИ  
(зам. главного редактора), Лия СТУРУА, Георгий  
ЧАРҚВИАНИ.

Технический редактор **К. Котомина**

Корректор **И. Ахсахалян**

---

Сдано в набор 9.09.93 г. Подписано к печати 29.10.93 г.  
Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Печать  
высокая. Печ. л. 7.0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.изд. л. 14.0. Ти-  
раж 400. Заказ 1372. Цена 40 куп.

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

---

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться в  
типографию издательства «Самшобло», по вопросам подписки и  
доставки журнала — в «Сакпрессу».

---

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, зам. главного редактора  
— 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43, 93-65-19,  
93-13-57.

---

Типография издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.



40 куп.

გ/პ/6/3

ИНДЕКС 16117



ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და  
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

„ლიტერატურა და ხელოვნება“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო

გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

—•—